

1

Наталья ВЕСЕЛОВА

г. Санкт-Петербург

Напротив, далеко за Академией художеств, и еще дальше, и правее — над всей Петроградкой, в стремительно ярчавшем небе вдруг неведомым образом оказалась словно застывшая на лету со сложенными крыльями бессчетная стая огромных черных птиц. Вот только что они с Кирой шли к зловеще багровеющему в теплой светлой ночи Эрмитажу через площадь¹ Урицкого — и небо было волнующе перламутровым и высоким, без намека на что-то пугающе чужеродное, не идущее городу, как черная фетровая шляпа не пошла бы сегодня к голубому крепдешинному платью его жены. Жены... Какое странное слово применительно к Кирочке! Подождите-подождите — а он-то ведь муж, выходит! Кровь бросилась Борису в голову, потому что именно сейчас, на подходе к мосту лейтенанта Шмидта², до него вдруг дошел неоспоримый факт, которому в одиннадцать часов утра наступившего воскресенья должно было исполниться ровно двадцать четыре часа: в субботу они действительно расписались в одном из районных загсов и даже получили на руки кремовую бумажку с гербом. Фиолетовые буквы, торопливо написанные невыспавшейся служащей, подтверждали со всей несомненностью, что они двое, Борис Александров и Кира Зуева, вступили вчера в самый что ни на есть законный брак...

— Зачем эти аэростаты? — прозвучал рядом удивленный и даже словно обиженный Кирочкин голос, и Борис, очнувшись, вздрогнул. — Вот кому, интересно, пришло в голову в такую чудную, такую теплую ночь... Вернее, уже утро... Затевать какие-то учения по ПВХО? Ну, хоть бы сегодня...

— Они же не знали, что у нас свадьба, дурочка... — Борис осторожно приобнял ее, ощутив под рукой модный плотный подплечник. — Вот если б знали, — тогда, конечно...

— Иди ты! — Кира смущенно высвободилась и закружилась по гранитным плитам, запрокинув голову, невесомая в своем первом «настоящем» платье и ловких черных туфельках. — Я жена, я жена, я жена! — пропела она, размахивая крошечной, чуть побольше кошелька, сумочкой. — Как здорово! Правда?

СОЛОМЕННЫЙ ВДОВЕЦ



рассказ

— Конечно... — не совсем уверенно отозвался Борис и принужденно улыбнулся.

Бумажка о законном браке лежала в нагрудном кармане его нового пиджака; Кира хотела было положить в сумочку, но он решительно воспротивился — вдруг потеряет — и убрал в более надежное место. Свадебный ужин тоже состоялся, как тому и положено, — на Васильевском, где Кира жила с вдовой матерью-учительницей и двумя младшими сестрами — в комнате узкой и тесной, как тот зеленый троллейбус, что уж пять лет ходит, битком набитый гражданами, от улицы Красной до Красной³ же площади... Его-то мама, да и он сам, понятное дело, хотели праздновать в Смольном, в их большой светлой комнате при хозяйственной части, да только не удалось достать необходимое количество пропусков для гостей — а упрямая Кира обязательно желала видеть на свадьбе целый букет из своих писклявых однокурсниц в одинаковых белых сарафанчиках с голубыми пуговицами и резиновых тапочках, заботливо натертых зубным порошком, и тоже — представьте себе — на голубых пуговичках! Они хохотали и ели, ели и хохотали, иногда спохватываясь и вспоминая, что давно не кричали «Горько!», — и тогда старинная пыльная люстра под высоким потолком звенела от их пьяненького, но дружного визга. Редкие баритончики и несмелые молодые баски приятелей Бориса безнадежно тонули в девичьем, будто галочьем гвалте — и все, неутолимо голодные, вновь жадно кидались на невиданную до толе еду. Это, конечно, мама расстаралась: она работала на раздаче в столовой северного «секретарского» крыла Смольного, где питались, конечно, не секретарши, а именно секретари: горкома и горисполкома — ну, и начальники отделов, само собой. Секретарш — тех гнали в южное крыло для «аппарата», победнее и попроще. Да и не имело это значения, а важным было то, что даже в глухое, страшное и темное время войны с белофиннами, когда в ленинградских магазинах остались только хлеб и чай, да и за теми нужно было занимать очередь с ночи, в их с мамой уютно натопленной комнате всегда стоял меж оконных рам наваристый мясной суп, лежали свертки с ароматной колбасой, сливочное масло в красивой коричневой бумаге. По воскресеньям мама заставляла юного Борю съесть по два бу-

терброда с красной или черной икрой — он не навидел и ту, и другую, но столовая ложка рыбьего жира, которой обычно грозила мать в случаях его «ломания», виделась гораздо более страшной, способной отвратительным послекусием испоганить весь сияющий радостью выходной день... Но в день свадьбы эти бутерброды, к его удивлению, разлетелись раньше всего остального. «Ребята, имейте совесть, оставьте бутербродик жениху!» — трагически зывала, помнится, какая-то смутная «Людочка» — а он, смеша всех, скривил ужасную рожу и стал отмахиваться обеими руками. «Борис, — в тот же миг на плечо ему со строгой лаской легла холодная, как у статуи в Летнем, рука тещи. — Возможно, это и не мое дело, но хочу напомнить вам, что вы — действительно жених. А в старое время жениху и невесте на свадьбе хмельного вообще не давали. В интересах потомства... Ну, вы меня понимаете...» Он покраснел так, что даже жарко стало, и тут же поймал испуганный Кирочкин взгляд: она, наверное, тоже подумала о неизбежном «потомстве» и успела представить себе заспиртованного уродца из Кунсткамеры. Они тогда вместе это увидели: просто завернули за угол и натолкнулись — и ему ли не помнить, какой ужас отражался в ее глазах, когда она пулей летела из музейного зала (он — следом) и бормотала на лету: «Это все он, отец его, пьяница проклятый, — откуда еще такое могло взяться...»

Борис засопел, дальше пил только сидро — и с каждой минутой ему делалось все больше и больше не по себе, к тому же гости начали понемногу собираться и, оставляя щедрые белые следы зубного порошка на полу, уходили шумными компаниями — а парни еще и показывали ему за спинами девушек очень неприличные, но легко читаемые знаки, призывавшие «не робеть» и уж, конечно, «не подкачать». Но не робеть он не мог и вовсе не был уверен, что не подкачает. Бывая раньше в гостях у сокурсников, он, разумеется, как и все они, прикидывался «бывалым», скромно, но убедительно играя роль небрежно-опытного товарища, которому приелись легкие красивые победы. Роль его оказалась нетяжелой — судьба подсобила: в их коммунальной квартире в хозчасти Смольного раньше проживало семейство шофера какой-то горкомовской «шишки», и старший сын, шало-

путный Санька Тараканов, имевший само собой разумеющуюся кличку, учился на врача: «выучить» детей по-настоящему, чтоб вырвались из обслуги, считалось среди простого, но много видевшего люда делом особой чести. Таракан посчитал своим долгом свысока просветить сосунка-соседа, одолжив ему как-то на ночь один из своих недоступных простым смертным медицинских учебников, снабженных вполне соцреалистическими иллюстрациями, где у хитроумно связанных и взнуданных простынями женщин, приготовленных «к малым гинекологическим операциям без хлороформирования», были педантично прописаны даже ресницы на туповато-спокойных лицах. Прячась от матери, ритмично всхрапывавшей за внушительным шкафом, Борис изучал дивную книгу с помощью не раз выручавшего и раньше фонарика в крошечной тьме одеяловой норы, изредка опасливо высовывая пылавшую голову, чтобы глотнуть свежего воздуха, а утром вполне теоретически образованным молодым человеком спокойно и крепко заснул на полчасика, спрятав сокровище под подушку... Было это давно, еще в школе, но плоды принесло изумительные: теперь в его бывалости никто из окружения и не думал сомневаться — ведь Борька умел при случае козырнуть такими ошеломительными подробностями, каких и представить не мог никто из действительно успевших наскоро надкусить еще зеленый запретный плод друзей — студентов Технологического института.

Но вся интрига состояла в том, что теория так пока и оставалась теорией: пусть Борис и убеждал себя день ото дня старательней, что «Байрон тоже был хромым — и ничего», но приблизиться с определенной целью к любой, даже недоступнейшей девушке — своей ныряющей, словно заранее извиняющейся за несуществующие грехи походкой, — он не смог бы даже под угрозой немедленного расстрела как врага народа. Пусть уж лучше стреляют — только не увидеть еще раз такого же полупрезрительного, полужалостливого взгляда, какой кинула на него несколько лет назад серая мышка (специально выбрал неизбалованную!) Людка Быкова, когда он, кругами проходив вокруг нее месяц, собрался, наконец, с духом пригласить ее на новую звуковую картину «Волга-Волга»...

Ему было пятнадцать, когда в бывшем Таврическом саду, ныне носившем гордое название Парка культуры и отдыха имени Первой пятилетки, торжественно открылся первый в Ленинграде роликовый каток, красиво именованный «скетинг-рингом». Он и теперь, зажмурив глаза, мог в подробностях представить себе те дурацкие плакаты с толстой стриженной брюнеткой в красной кофте и на роликах, словно лягающей мощной «задней» ногой на колесах крошечную мужскую фигурку в белом... «Скетинг радиофицирован, — сообщала черная надпись у «передней» ноги. — Буфет с прохладительн. напитками». Да, да, и такая смешная деталь навечно приклеилась к доверчивым мозгам: окончание «ыми» то ли не влезло, то ли посчитано было лишним... Обещали еще с каждой афишной тумбы и какие-то «всевозможные танцы и пр.» под руководством роликобежца-виртуоза Кочкурова... «Кроликобежца! — много лет слышал потом во сне Борис незамысловатый каламбур одноклассника. — Бегает, наверно, как кролик!» На бывшей Думе пробило восемь — «скетинг» как раз открывался — и в ту же секунду лихо подкатил новенький, только-только запущенный тогда по проспекту 25 Октября⁴, пахнущий свежим лаком скамеек угловатый зеленый троллейбус с белой крышей и добрыми глазами-фарами. Борька с товарищем сели и поехали — ненадолго, только примериться: назавтра предстояла контрольная по неорганике. В школу он вернулся только через год — с правой ногой короче левой на шесть сантиметров, почти переставшим сгибаться коленом и толстой прокладкой в неестественно измятом ботинке.

...Было несколько не больно, и в первую секунду он опрометчиво решил, что повезло — даже синяка не набил. Ехать на роликах после двух-трех несмелых попыток и мягких приземлений на пятую точку вообще оказалось не труднее, чем на обычных коньках с черными ботинками, — а здесь и ботинок не требовалось: продеваешь ногу прямо в резиновом тапочке сквозь два ремешка — поперек стопы и через пятку — и гони себе по кругу, а хочется шика — крутись в обещанных танцах безо всякого руководства. Промчатся с ветерком, приноровившись по-настоящему, он успел только полтора круга, когда огромная тетка, остриженная «в скобку» и

одетая точно, как на плакате, в кумачовую рубашку, с воем налетела на него откуда-то сбоку, будто отчаянно гудящий паровоз, смела, как котенка с рельсов, и грузно понеслась по одной ей ведомой траектории. А Борис, от неожиданности почти упавший, присев на левой ноге и неловко выставив пистолетом правую, отчего-то уже бесколёсную ногу, вихрем промчался к ограждению — и с удивительно громким хрустом врубился в него. Он сразу же вознамерился встать, почистить только утром наглаженные мамой и весьма уже испачканные брюки, разыскать упавший конек... И не понял, на что такое острое и твердое, как лыжные палки, натывается, отряхивая брючину, его удивленная ладонь, почему у одноклассника, конопатого Лёхи, так широко открыт в беззвучном вопле крупнозубый рот, а веснушки словно повисли в воздухе над посеревшими щеками, зачем трясет его за плечи, как жадную яблоню, незнакомая перепуганная девушка в белой с красным крестом косынке и о чем она его так настойчиво спрашивает.

Боль пришла потом — когда лежал в больнице на вытяжке и сутками вопил не своим голосом, так что добрый старенький профессор с белой бородкой клинышком даже постоял над ним однажды минутку, посочувствовал: «Ну что, милый? Лечат тебя по методу Малюты Скуратова? Э-эх, бедняга ты, бедняга», — и ушел. Но появился, как по шучьему веленью, неслышанный морфий, ненадолго ту боль утолявший. Его просто и быстро обеспечил отец просветителя-Таракана — вернее, та еще не расстрелянная тогда строгая горкомовская «шишка», что ездила с ним на заднем сиденье замечательной черной «эмки». Расчувствовалась «шишка» от жалобного рассказа своего водителя, буркнула небрежно пару слов в эбонитовую трубку — и сразу к Борьке прибежала медсестра со стеклянным шприцем — и долго, между прочим, бегала, а не то бы совсем беда. Когда «шишку» расстреляли — и Тараканова-отца с семьей на всякий случай — сестра прибегать перестала, наоборот, глядела непроницаемо. Правда, боль к тому времени стала уже вполне терпимой и без морфия.

В институте Борис догадался с первых же дней принять вид особенный и загадочный. На чей-то наивный вопрос: «Это с рождения у тебя так?» — сдержанно покачал головой и помрач-

нел лицом, оставляя воображению новых товарищей широкий простор для полета. Повезло, что в первые же дни принялись ребята горячо обсуждать в курилке гражданскую войну в Испании⁵, причем каждый отчего-то стремился привести абсолютно несокрушимые оправдания тому позорному факту, что сам в добровольцы не записался. Бориса деликатно не спрашивали, да он и не нарывался — лишь, охваченный мгновенным, какое бывает, должно быть, только у поэтов, озарением, с силой выдохнул через нос едкий дым дешевой «Звезды» и нервным движением смял тонкий окурок о край урны. «А некоторым... пришлось...» — прерывисто пробормотал, словно себе самому, — и тотчас вышел, никому не кивнув. Он ни на что не рассчитывал и почти не играл — само получилось, даже испугался слегка. Никто его потом ни о чем не расспрашивал, но в самом отношении новых приятелей с тех пор сквозило легкое, будто недоуменное уважение. Может, и правда, это — из Испании? И спрашивать нельзя — какое-нибудь секретное задание? Но в остальном парнем он оказался своим в доску, да еще вдобавок охотно подкармливал настоящей колбасой из Смольного тех, кто выглядел уж совсем обтрепанным и откровенно голодным, живя на одну студенческую стипендию. С девушками все годы учебы держался вежливо, но отчужденно, а в сугубо мужских компаниях прозрачно намекал на страстные связи где-то на таинственной «стороне»...

Очередной Новый год встречали всей группой в полном составе на площади Урицкого. Подумать только — казалось, еще совсем недавно строгая учительница с высокой прической заставляла шестиклашек стройно скандировать в классе вовсе не шуточное двестише: «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов», — а теперь вот не то что елка, а сама Александровская колонна украшена была не хуже: освещенная несколькими прожекторами, она, должно быть, символизировала советское изобилие, увешанная огромными «шоколадными» бомбами, устрашающих размеров картонными колбасами, сверкавшими бумажным серебром, бутылками консервными банками, пустопорожне гремевшими на ветру о гранит, и папиросными коробками «Герцеговина флор» размером с рояль. Борис, привыкший к сытной жизни быв-

шего института благородных девиц, воспринимал происходящее вполне серьезно и невольно раздражался, слушая опасно шутивших среди ушастой и глазастой толпы одноклассников. Один из них, то снимая, то надевая круглые очки, очень смешно изображал в лицах, как бегал минувшей весной рано утром из магазина в магазин, везде отстаивая очередь и покупая по сто разрешенных к отпуску в одни руки граммов еды, чтобы собрать к Первомаю продуктовую посылку «тетушке в Выдропужск⁶». Корчились от хохота все, включая и самых скромных девушек, стыдливо вытиравших платочками веселые слезы... «Война⁷ же кончилась! — повторяли они сквозь смех как по команде. — Теперь всё скоро будет, всё-всё-всё!» Никто и не спорил — молодежь целенаправленно веселилась.

Среди своих по рукам шла уже четвертая бутылка «Фруктово-ягодного», когда боковым зрением Борис уловил неподалеку что-то родное. Именно родное — так он определил для себя, еще не повернувшись. Там кто-то хромал. Причем хромал именно так, припадая и вскидываясь, как и он сам, да еще и на ту же ногу. Сделав стремительный разворот на здоровой ноге, молодой человек увидел юную растерянную гражданочку в основательно потертой белочке и полудетском вязаном капоре. Тоненькие ножки, всунутые в несоразмерно объемные боты, тревожно топали по крошечному пятаку свободной от ликующих товарищей мостовой; судорожно, как подбитая утица, девушка ныряла на каждом шаге вправо, с усилием выпрямляясь. Борис не помнил, как оказался рядом с ней, знал только, что не чувствует никакой неловкости и униженности, а, наоборот, подлетает к ней кем-то вроде ангела-избавителя — если бы, конечно, таковые не являлись идеологически вредной сказкой:

— Гражданочка, вы, наверное, потеряли что-то?

Ее лицо как раз в ту секунду коротко лизнул прошедший по толпе прожектор, и хромой ухажер на миг увидел очень ясные, как летняя ночь, глаза.

— Это не я, а меня потеряли, — спокойно и доверчиво сообщила она. — Мама и сестренки. И теперь уж не найдут в такой толчее. Придется мне, видно, одной до дома ковлять...

— Не одной! — обрадовался Борис, снова ведомый в те минуты чем-то вроде вдохновения. — Мы вместе поковляем! Я ведь — тоже — видите? — и он демонстративно прохромал перед ней несколько шагов туда-сюда: вовсе не стыдно показалось, потому что она была своя — хроменькая...

— Беденький! — пожалела девушка. — Упали?

— Да, на роликах... Много лет назад, — сознался он. — Глупо, конечно, вышло...

— На роликах — не глупо, — со знанием дела утешила она. — Глупо — это когда как я: только поняла, что меня потеряли... то есть я сама потерялась... Так и побежала сквозь толпу, не зная куда, как последняя дурочка... А у меня в эти боты-то — ноги прямо в туфлях вставлены. Тепло, но неудобно — вот и брякнулась! Нога подвернулась, ботик один улетел, еле нашла его — чуть не затоптали... Представляете — я тут ползаю на коленках, чулки новые порвала, боль ужасная — а они кругом прямо из горлышка вино пьют и хохочут... Потом нашла его — а лодыжка так распухла, что еле влезла... Вот и хромаю тут... В другой день давно бы заплакала, да нельзя — Новый год же! Бабушка говорит, как встретишь, так и проведешь. Не хочется весь год рёвой ходить — вот и держусь как умею... А вы говорите — на роликах глупо... Да глупей, чем у меня, не бывает!

— Насчет того, что весь год — это предрассудки, плачьте себе на здоровье, если хочется, — авторитетно изрек Борис, только что одну за другой постигший две непреложные истины: во-первых, эта милая храбрая девочка хромает не навсегда, а во-вторых, хромая только временно, она вовсе не гнушается стоять тут с ним, хромым пожизненно, — и не только не гнушается, но даже и не думает смотреть на него страшным взглядом Людки Быковой, а смотрит светло и ярко, как лампочка Ильича.

Отрез голубого крепдешина на платье для загса подарила Кирочке Борина мама, пять лет гонимая о том, что ее горячая мечта о внуках имеет мало шансов на осуществление. При вести о скорой женитьбе увечного сына — да не на замухрышке какой-нибудь, а на приличной девушке из трудовых интеллигентов, она воспряла духом настолько, что даже сама предложила жениху с невестой располагаться после росписи на

Бориной половине комнаты, за книжным шкафом, сколь угодно привольно — а о разрешении на прописку она договорится: как-никак с восемнадцатого года при Смольном знакомствами обросла, что твой корабль ракушками, — вот хоть завтра с маникюршей из родного «северного» переговорит. Кожаные туфли со скрещенными ремешками, купленные еще у нэпмана, но вполне целые и с новыми набойками, пожертвовала молодая Кирина бабушка, а младшие сестры-двойняшки щедро скинулись со стипендии на настоящие фильдеперсовые чулки. Будущая теща несколько ночей подряд, проверив очередную стопку школьных сочинений, не разгибая спины, строчила на столетнем «Зингере» капризный небесного цвета материал, из которого постепенно, как статуя из мраморной глыбы, рождалось дивное платье с рукавами-«фонариками», с легким летящим подолом.

...Со своей свадьбы они ушли последними, через час после отбытия вполне довольной жизнью свекрови, объявившей, что ей завтра к шести утра на работу, — потому что люди «и по воскресеньям тоже жрать хотят». Рабочая смена в «секретарской» столовой Смольного длилась шестнадцать часов, зато работать приходилось через день; работы мать Бориса не боялась, привычная к ней задолго до исторического Октябрьского восстания. Ей было что восемь, что шестнадцать — так и так наломаешься, зато всегда знаешь, что завтра выходной.

— На трамвай, смотрите, не опоздайте, — предупредила она, сосредоточенно приделывая себе перед трюмо ярко-красную шляпку — милую, дамскую — но совершенно лишнюю на ее крупной ушастой, спокойно обходившейся вообще без шеи голове. — И, как в комнату войдете, не топайте там особо: мне в пять утра вставать, между прочим. Ты, Кира, пропуск-то не потеряла?

Но Кира все норовила остаться ночевать в родном доме, на каком-то историческом сундуке, где проспала всю жизнь, а мужу разложить посередине комнаты допотопную деревянную раскладушку:

— Мама, может, мы завтра в Смольный поедем, а сегодня уж и трамвай, наверное, не ходят... — умоляюще шептала она, прощально

повиснув на шее у матери, словно уводимая в полон.

— Ты сама все решила, — сдержанно выдиралась та из отчаянных объятий. — Никто не неволил, что уж теперь-то... — и бросала непонятный, словно исполненный гнева, взгляд на мявшего кепку в дверях зятя. — Ну, довольно, довольно... Последний трамвай тебя дожидаться не станет...

Трамвай и не дождался. То есть если бы они побежали, крича и размахивая руками, как это сделала стайка свежееиспеченных выпускниц, белыми бабочками взлетевших в конечном итоге на заднюю площадку, то усталый седоусый вагоновожатый, словно сошедший с плаката, где с мудрой суровостью обличал беспечного «летуна⁸», похожего на комара с портфелем («Хорошо летаешь, где-то сядешь?»), непременно помедлил бы на остановке, добродушно усмехаясь на «дело молодое». Но юные супруги дружно сделали вид, что до узкого гремящего и звенящего трамвайчика им нет ровно никакого дела — ни молодого, ни старого.

— Да-а, действительно не успели... — с деланным огорчением протянул Борис.

Жена его тоже облегченно выдохнула:

— Да, жалко... — и сразу оживленно прибавила: — А ты заметил, что когда едет трамвай, то это всегда как музыка? Ни у автобуса, ни у троллейбуса, ни тем более у грузовика такого нет. А трамвай — прямо музыкальная шкатулка на колесах. Тут тебе и звон, тут и деревянные ложки, и...

— Тебе надо было на учительницу не математики, а музыки идти, — улыбнулся «муж», к которому, как только выяснилось, что скоро попасть домой им заказано, вновь вернулась обычная уверенность «бывалого» дипломника из Техноложки. — Если этот красный гроб на колесах тебе музыкальной шкатулкой кажется...

— Как жаль, что ты не слышишь... — печально отозвалась Кира. — Впрочем, я тоже не всегда... Это бывает только когда во мне что-то такое обостряется... Не могу объяснить... Ты ведь не поверишь, если я скажу, что своя музыка есть даже в высшей математике... — (при мысли об этой заковыристой науке Бориса, дважды передававшего ее на третьем курсе, слегка передернуло). — Вот, например, формулы... Тебе никогда не казалось, что они напоминают звезды? В

смысле, когда вся черная доска в аудитории бывает исписана уравнениями, то если прищуриться — это как созвездия на ночном небе: так же притягивают и страшат немножечко...

— ...и примерно так же понятны, — в тон ей протянул Борис и улыбнулся: — Фантазерка ты все-таки у меня... — и добавил бодрости в голос: — Ну что, к Неве? Как раз тут и выйдем к Крузенштерну... — и он начал горячо, с подробностями, рассказывать Кире, как мальчишкой тайком бегал сюда купаться, потому что за памятником — самое глубокое место Невы у берега, так что, ныряя вниз головой, почти не рискуешь свернуть себе шею; а мелкое, наоборот, у Сфинксов — там раньше можно было купаться, даже матери с детьми, бывало, у ступеней плавали, но потом милиция гонять стала — то ли из-за того, что утопленники все же были делом нередким, то ли Академия художеств напротив: иностранцы смотрят — неловко...

Невозмутимый Крузенштерн вырос перед ними на фоне старой притопленной баржи — и на Бориса снова непредсказуемо накатило:

— А что?! Сейчас, можно сказать, жарко. Эх, тряхну стариной!.. — и он решительно взялся за пуговицы пиджака, меж тем как в голове пронеслась неожиданная и, определенно, правильная мысль: «Вот она мою ногу и увидит заранее — при самых обычных обстоятельствах — ну, искупаться решил человек... Тогда потом не так страшно будет...»

Поэтому напрасно новобрачная цеплялась за руки неуклонно раздевавшегося в первую брачную ночь супруга, взывая к нему: «С ума сошел! Не позволю!» — он остервенело-весело сорвал праздничную рубашку, запутался в преждевременно упавших брюках, чуть-чуть попрыгал на здоровой ноге, высвобождая пострадавшую — и, зажмурив глаза, быстро заковылял по траве большим неуклюжим карлой. На краю он, как смог, сильно и отчаянно оттолкнулся — неловко ухнул топориком в забыто холодную воду великой терпеливой реки. Мощное ледяное течение жестко зацепило его за ребра, ослепило неожиданной темнотой, туго сдавило на миг, будто гигантский змей, останавливая сердце, — и вдруг разжалось, выплюнуло на свет и воздух. Вернувшийся слух ухватил пронзительное, словно утиное криканье: «Бор-ря! Бор-ря! Бор-ря!» — это

надрывалась, стоя у самого края с подобранной юбкой, будто готовясь к прыжку, встревоженная Кирочка. Борис подтянулся на руках и уселся на травянистом обрыве:

— Ну что ты всё — «Боря, Боря»? Заладила. Уж и искупаться нельзя. И тебе советую. Очень освежает, между прочим... — страшное прошло, и теперь снова можно было говорить спокойно.

Они медленно дошли до Дворцового моста, обогнули Эрмитаж — надо же, еще и покрасить не успели, а бордовая краска уже слезает! — прошлись вокруг колонны по площади Урицкого. Борис сжал руку жены:

— Помнишь?

Она загадочно-счастливо кивнула:

— Да. Там еще под аркой еловый лес сделали. И Волк с Красной Шапочкой ходили под руку — смешно, да? И еще ворона была — та, с сыром, помнишь? А я пригляделась, смотрю — это не ворона, а ворон, потому что парень. И сыр у него был картонный...

Они вновь повернули к набережной.

— Почему это все люди такие праздничные сегодня? — оглядываясь кругом, спросила Кира. — Все девушки такие нарядные, парни — в костюмах... И взрослых почти нет — одни милиционеры, и те какие-то веселые. А вон — слышишь? — поют!

Откуда-то действительно вполне стройно грянуло: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек...» Супруги разом обернулись и увидели идущих под руки неровной шеренгой парней и девчонок — к ним на ходу присоединялись другие и подхватывали: «Я другой такой страны не знаю...»

— Где так вольно дышит человек! — хором выкрикнули, поравнявшись с ними, Кира и Борис и помахали ребятам.

— Вспомнил! — Борис остановился и шлепнул себя по лбу. — Сегодня же у детей выпускной! Еще девчонки на Васильевском за трамваем бежали! А ты уж, наверное, вообразила, что это в честь нас в городе праздник, да? Ну, признавайся, да? — он со смехом теребил ее. — А это всего лишь детский бал!

Он с таким удовольствием произнес это уничтожительное «детей», что уже преднамеренно прибавил снисходительное «детский» вместо лояльного «школьный» — и стало все кругом лег-

ко и понятно: к нему это давно и окончательно не относится. Он теперь взрослый женатый человек — ну, прихрамывает немножко — какое это имеет значение! Он зимой защитит диплом и станет инженером, а жена его через год — учителем. Они станут честно трудиться, и вскоре государство выделит им хорошую собственную комнату, так что уже не надо будет прятаться за шкафом от мамы. И у них, конечно, родится здоровый крепкий сынишка, которого он будет водить за руку вдоль Невы, смотреть с ним на корабли, а еще года через три — кудрявая голубоглазая дочурка, и Кира станет повязывать ей на макушку пышный розовый бант...

Они перешли мост лейтенанта Шмидта, одобрительно глядя вперед и вверх на замершие в теплом небе аэростаты: это ведь тоже хорошо, что и в такую мирную ночь идут своим чередом военные ученья, это значит, что те, кто нужно, — не спят и несут свое вечное дежурство, охраняя воскресный покой трудового советского города.

Напротив Академии художеств стоял с открытой дверью и опущенными стеклами казенный серый автобус — и туда весело запрыгивали один за другим ребята постарше — уже не школьники по виду, а студенты или молодые рабочие.

— Вы откуда и куда? — пританцовывая, крикнула им Кира.

— Из Москвы! — охотно отозвалась румяная девушка в белом беретике, бесшабашно сдвинутом на ухо. — На экскурсии здесь, белые ночи ваши смотрим! Сейчас — на Острова едем! Айда с нами!

— Айда! — преувеличенно бурно согласился Борис, хватая Кирочку за руку.

Несчастливая нога его давно уже отчетливо ныла от долгой ходьбы, в чем он закономерно предпочитал не признаваться, и отрадной показалась мысль протянуть страдалицу под чье-то сиденье и тайком помассировать. Ему это вполне удалось, когда, проезжая вдоль Невы, песню про нее с ходу как-то не вспомнили и запросто переключились на другую, не менее известную реку:

— Красавица народная, — гремела их «музыкальная шкатулка», — Как море, полноводная, / Как Родина, свободная, / Широка, глубока, сильна!.. — а Борис, не участвуя в самодеятельности, старательно растирал место давнего перелома.

На Островах они от шумных москвичей отбились — хотя и там гуляющих было хоть отбавляй. Искоса поглядывая на побледневшее личико жены, Борис вдруг понял, как же она устала за минувшие сутки: вся эта утренняя нервозность в загсе, последующая суета со свадебным угощением, потом испытание бурным ужином, принудительным весельем... И, наконец, эта незапланированная прогулка — а все потому, что деваться молодоженам принципиально некуда, кроме как к матери за шкаф, — вроде бы и у всех так, а только... Не по-людски как-то, вот что. Не сядешь, не поговоришь, не обнимешь...

— Давай на пляж... — тихо предложил он. — Хотя отдохнем немного, а там и трамваи пойдут... — поколебался и добавил: — До Смольного доберемся — мама уже на работу уйдет, никто не помешает... — все-таки запнулся, — выспаться...

Борис расстелил для Киры пиджак на холодном песке меж двух неизвестных кустов, а когда она осторожно прилегла, подсунул ей под голову свою кепку. Сам пристроился рядом, с локтем под щекой, поколебался — и нерешительно обнял обмякшую девушку:

— Ты подремли, я подежурю.

Она уютно поёрзала и тоже робко обхватила его за бок. Но подежурить Борису не удалось: беспомощно проваливаясь в бархатную бездну, он только успел услышать ее сонный шепот у своего лица:

— Какой счастливый день наступает... Вот стану я бабушкой, и спросят меня внуки: «Какой, бабуля, у тебя был самый счастливый день в жизни?» А я им и скажу... Скажу: «Двадцать второго июня... Одна тысяча... девятьсот сорок первого года...»

2

Борис назывался теперь двумя безобидными по отдельности и страшными в своей неожиданной связке словами: «кухонный мужик». Как писалась эта странная должность в отделе кадров Смольного, он не запомнил, а неофициально звучала она, как ни крути, оскорбительно, отдавая чем-то замшелое дореволюционным. Тесно спаянная команда «южной» столовой для «аппарата», по-семейному делившая военные тяготы,

в начале ноября сразу приняла как родного единственного сына доброй Васильевны, по-прежнему трудившейся в противоположной «северной», заслужив эту привилегию без малого четвертьвековым беспорочным трудом. Ее миновали жестокие чистки тридцать пятого, безжалостно прошерстившие жировавшую обслугу, когда в расход пустили даже официанток, полотеров и уборщиц, обвиненных в том, что «могли слышать контрреволюционные разговоры», — нашлась на них и такая заковыристая статья. А Васильевну не тронули, что, по мнению чуткого местного племени служилого люда, парадоксально доказывало ее незамазанность доношением: недолго торжествовавших сексотов преспокойно расстреляли сразу после тех, на кого они недалёковидно доносили.

Все это Борис знал давно и, в целом, не особо такими подробностями интересовался. Довольно с него было и теплой квадратной комнаты, сытной хорошей еды, ласковой нетребовательной матери — все равно он должен был скоро стать итээром, уважаемым инженером-конструктором, зажить другими, не приземленными идеалами... Так оно и случилось бы, если б не война.

«Если б не война... Если б не проклятое двадцать второе июня...» — остервенело отдирая специальным ножом толстую склизкую корку, налипшую внутри простоявшего весь день под паром котла, повторял про себя увечный «кухонный мужик» Боря, не взятый из-за хромоты даже в ополчение, куда прямо перед ним записали кривого парня, не приняв во внимание его неподвижный стеклянный глаз. «С одним глазом воевать еще лучше: когда целиться будет — прищуриваться не надо. А ты не то что в атаку побежать — тебя еще на марше самого, вдобавок к полной выкладке, на плечах нести придется», — так объяснил свой поступок пожилой лейтенант, подняв усталые, в частой сеточке красных прожилок глаза от длинного карандашного списка.

Борис наконец перевернул освобожденный котел, аккуратно вытряхнул на газету размякшую корку, собираясь нести ее в мусорный ящик.

— Ты чё, спятил? — рядом бесшумно возник пятнадцатилетний Валька, сыночек раздатчицы те-

ти Зины, тоже пристроенный мамой на подхват. — Это ж каша пшенная! На молоке! Кипяточком развести да вилкой помять — и все дела!

— Голодный ты, что ли? — удивился Борис.

В дополнение к общим продуктовым карточкам, превратившимся теперь в главные семейные ценности для подавляющего большинства ленинградцев, в Смольном выдали, каждому соответственно рангу, еще и свои, местные карточки на завтрак, обед и ужин. Тот, кто отдал обычные, «голодные», карточки кому-то из родни в городе, лишался за обедом мясного блюда и вынужден был есть пустой гарнир — чаще всего вермишель без подливы или сухую картошку. Но они-то с Валькой сегодня съели по говяжьему биточку и каши с маслом и хлебом от пуза! А Вальке потом еще и суп почему-то не понравился, и он его красноармейцу из охраны отнес — а тот ему что-то в карман сунул... Да и матери их каждый день домой то мясо, то рыбу, то картошку приносят... А этот... Хотя ведь расти, наверно, пареньку нужно...

— Тебя как ни корми — все не в коня корм. А в городе люди, говорят, даже кошек съели, — упрекнул он жадного пацаненка.

— Вот и я говорю — съели, — Валька по-свойски подхватил Бориса под руку, отвел чуть в сторонку и незаметно повертел головой туда-сюда. — А мать тут как-то на проспект Володарского к подруге своей ходила — так, говорит, они там вообще на улицах мрут, честное слово. Обстрелы — это само собой, а больше от голода... Здесь у нас об этом говорить — сам знаешь. Только шепотом.

— Неужели прямо мрут? — усомнился Борис, «шепот», конечно, слышавший не раз, но предпочитавший списывать его на бабы «страсти». — Я-то сам в городе с осени не бывал — идти не к кому. Друзья все на фронте, жена...

— Да знаю я... — хитро подмигнул ушлый парнишка. — Соломенный ты наш вдовец, жену из армии ждешь... — он было похабно хихикнул, но Борис нахмурился:

— Но-но, ты давай не очень, а то ка-ак...

— Ой, испугал! — в притворном ужасе, закрывшись локтем, Валька недалеко отскочил. — Да ты слушай меня, чудило, я дело говорю — как раз и бабе твоей хорошо выйдет. Корку-то — пшенную там или вермишелевую — не выкидывай. В

газете под бушлатом с собой уноси. А дома — по банкам, по банкам ее, родимую...

— Зачем? — опять изумился тугодумный Борис. — Хотя правильно: красноармейцы эти с командиром, что на кухне всегда дежурят, одним армейским пайком живут. Я видел, как ты суп им носил, — молодец. Я тоже иногда свой отдаю. А вот если кашу эту им вроде приварка... Ловко придумал, хвалю за сообразительность!

Теперь уже Валька воззрился на старшего товарища в полном недоумении — отсутствующие брови полезли вверх:

— Слушай, откуда ты к нам свалился такой правильный — хоть сейчас в ВКП(б)! Какие красноармейцы? Какой приварок? Паёк дают — и хватит с них! Я тебе про что толкую? Я тебе про ба... про жену твою говорю! Вот вернется она с фронта, а ты ей — подарок! Кольцо, скажем, золотое или там серьги какие-нибудь...

— Зачем ей серьги, у нее и дырок-то в ушах нет, — все еще не понимал Борис.

— Да в ушах и не обязательно, главное, чтобы... Всё, понял, — он быстро поднял ладони в ответ на угрожающий жест Бориса. — Ну, горжетку тогда, как у Зойки-официантки. С лапами, глазами и зубами — видал?

— Не темни, говори прямо, — строго глянул «кухонный мужик».

— Прямо так прямо, — покладисто согласился Валька. — Литровая банка каши такой на толкучке у Кузнечного на золотой перстенок тянет. А не то — на шевиотовый довоенный костюмчик с такими шкарами, что носы ботинок закрывают, — глядишь, и сам приоденешься. Верно говорю: сам туда раз сгонял, но одному страшно — видел, как блатные с бритвами по толпе шныряют. Вдвоем хочу. Один меняет, другой — прикрытые обеспечивает. Наглеть не будем, больше одной банки на рыло отсюда все равно незаметно не вынести. Какая смена на выходе добрая и без толку людей не шмонает — это я давно уже вычислил. А у нас с тобой у обоих смена будет как раз вечерняя. Если не дрейфишь — так с утрачка и прогуляемся. Ну что, прояснилось?

Шевиотовый костюмчик с чужого плеча Бориса не прельстил — его собственный почти новенький бостоновый без дела пылился в шкафу с дважды памятного дня свадьбы. А вот колечко для Киры... Пусть хоть самое тоню-

сенькое, пусть хоть как проволочка... На свадьбу-то ведь и чулки шелковые ей сестры, помнится, в складчину покупали... А он только раз пирожными угостил... Все думал: вот стану инженером, тогда уж... Но теперь она — бравый, наверное, сержант, а он тут незаменимый специалист... по объедкам.

...Двадцать второго июня до Смольного они так и не добрались — до позднего утра младенчески проспали под кустами, пригреваемые нежарким еще солнышком, — и, пыльные, помятые, виновато побрели на Васильевский, на ходу вытряхивая из обуви колючий песок. Добравшись до Большого к полудню, увидели небольшую группу людей, что нетерпеливо стояли, обмахиваясь газетами и платками, под уличным репродуктором, испускавшим неблагозвучный треск. «Объявили, что будет передано важное правительственное сообщение, — вот и ждем. Только бы не карточки опять ввели...» — охотно поделился опасениями толстый дядька в очках, вытирая смешной пионерской панамкой обильный пот со свекольно-красного лица, — и в этот момент громкоговоритель последний раз прочистил железное горло и торжественно разродился знакомым голосом Молотова:

— Граждане и гражданки...

В два часа дня они сидели рядышком на Кирином высоком обшарпанном сундуке, всю жизнь прослужившем ей скромной девичьей постелью, — матрас вчера еще был туго свернут тещей, и теперь, как наказанный, стоял в углу пустой жаркой комнаты, глядевшей в узкий двор на изнуренный серый тополь. Кира держала в руках только что извлеченную именно из прославленного сундука маленькую помятую бумажку с едва различимым машинописным текстом:

— Временное удостоверение ворошиловского стрелка, — вполголоса читала она. — Дано настоящее товарищу Зуевой Ка Эн, двадцать первого года рождения, в том, что он сдал... сдала нормы ворошиловского стрелка... ступени первой... двадцать восьмого ноября тридцать девятого года... Первое упражнение... сорок два... очка, второе упражнение... пять попаданий... Выдан значок за номером... сорок четыре тысячи четыреста тридцать шесть... Подпись... Ох! — она вдруг уронила лицо в удостоверение, как в носовой

платок. — Я ведь, когда сдавала, и подумать не могла, что пригодится... Куда теперь с этим — в военкомат, да? Или в институт?

— Ты что, какой военкомат! — испугался Борис, хватая ее за руку. — Думаешь, мы с этим выскочкой Гитлером без девушек не справимся?.. — и жестоко запнулся.

Кира залилась мучительной краской, видимо, тоже оценив это невольное страстное «мы» и не решившись добить стиснувшего от унижения зубы мужа. Она тихо сползла с сундука, одернула как-то поникшее на ней за сутки голубое платье:

— Не знаю... Я что-то такое странное чувствую... Ты отвернись... Мне переодеться надо.

Заложив руки за спину, он горько смотрел на старый потрепанный тополь, доживающий свой честный век в ленинградском дворе, на грязный пух, облепивший его бурую усталую крону, и безуспешно пытался наскоро обдумать ту бессмысленную нелепицу, что назойливо свершалась кругом — без всякого его участия. Это он должен сейчас в толпе суровых друзей решительным шагом идти в военкомат, где, наверное, стоит уже длинная очередь таких же, как он, крепких и смелых защитников, никогда не ломавших мощные упругие ноги на несерьезных роликовых катках. А не... — он обернулся — не пухленькая, как булочка с сахарной пудрой, девушка в белом холстинковом платье-халатике и сияюще-белых от зубного порошка резиновых туфельках. Ни разу он не заметил на ее тоненьких пальчиках ни одного, даже самого скромненького колечка...

— Вы только не вздумайте все меня отговаривать, — новым, не звонким девичьим, а вполне взрослым голосом волевой женщины сказала она. — Потому что все равно ничего у вас не получится.

В следующий — и последний — раз он видел Киру у Смольного в конце августа, когда она соскочила к нему с откинутого борта грузовика, ненадолго вырвавшись из казармы перед отправкой в часть. Уже вплотную подступила к Ленинграду осень — и вместе с ней неудержимо приближался враг. Молодая жена его выглядела похудшей, будто ее грубо обстругали, и новенькая

хэбэ-гимнастерка, выданная еще в самом начале двухмесячных курсов, с которых гордые ворошиловские стрелки выходили неопытными младшими сержантами-снайперами, нищенски висела на ней, перетянутая жестким армейским ремнем, — но в петлицах скромно багровело по маленькому треугольнику⁹. Все это выглядело бутафорски-неубедительно, словно перед ним стояла девчонка-старшеклассница, вздумавшая сыграть в школьном театре красноармейца, — не хватало, пожалуй, только гуталином наведенных усов... Поверить в то, что она едет воевать по-настоящему, было невозможно по определению — или просто это само сердце отвергало такую возможность?

— Мы с тобой здесь сейчас простимся — ты на вокзал вечером не приходи. Меня мама придет провожать и девочки. Они эвакуируются завтра со своим институтом, а маму школа не отпустила... — Кира на секунду схватилась за голову: — Слез будет! Представляешь, мама до сих пор отговаривает, будто сейчас что-то от меня еще зависит... И на тебя, между прочим, злится — якобы должен был мне запретить, муж все-таки... Ты вот что — пригляди тут за ней немножко, мало ли что... Вдруг...

— Мы Ленинград не отдадим, — на сей раз нарочно напирая на это злосчастное «мы», отрезал Борис. — Тут тебе за нее волноваться нечего... А вообще — да, пригляжу, конечно, о чем разговор... — он помолчал. — Ты там это... не очень... Ты береги себя, слышишь? Я ведь ждать буду. И еще, сказать хотел... Раньше не получалось как-то, а теперь... В общем, я это... Люблю я тебя, понимаешь... По-настоящему.

— Да, и я. Я тоже — по-настоящему, — просто ответила она.

Грузовик за ее спиной хрипло и настойчиво прогудел.

— Идти мне надо, — Кира обхватила Бориса руками за голову, притянула к себе, и он почувствовал этот последний поцелуй, как первый, словно все те, из прежней жизни, были несерьезными, не дававшими им никаких прав ни друг на друга, ни на любовь...

Борис, разумеется, знал — и от матери, регулярно навещавшей с контрабандными гостинцами школьную подругу где-то на Охте, и от

других, не запертых в Смольном на казарменном положении, а лишь связанных подпиской о неразглашении работников, — и про трамваи, похороненные в сугробах до весны, и про вечно тлеющие руины некогда густозаселенных домов, и про закутанных во что попало человеческих призраков с отрешенными лицами, равнодушно бредущих по узеньким тропинкам среди снеговых завалов... Он понимал, что пойдет по неузнаваемому прифронтовому городу, совсем другому — сурово-трагическому, но высокому в своем страдании — и все же был ошеломлен и подавлен, пробираясь вслед за шустрим Валькой, ловко находившим дорогу среди снегов, слежавшихся в нерастопляемые, казалось, глыбы, и огромных безмолвных развалин. Раньше он видел страдание только в фильмах и спектаклях — всегда сдержанно красивое, окрашенное героизмом допрашиваемых и расстреливаемых белыми революционеров или красноармейцев, непременно сохранявших на экране или сцене благородную бледность лица, огонь сверкающих презрением очей; а если и бежала какая-нибудь черная струйка крови — так обязательно сбоку, воровато, от виска по щеке, или пятном расплывалась по мощному непокоренному плечу. Теперь Борис был поражен уродством страдания, его подлым безобразием; тот самый величественный дух города, к которому он привык с рождения, дух официально провозглашенного «музея под открытым небом» — тот дух исчез безвозвратно, замененный другим, смутно ощущавшимся как великий.

— Всё, прищандыбали, и погода хорошая по дороге стояла — это я в том смысле, что под обстрел не угодили: так теперь в городе говорят, — обернувшись, доложил Валька, указывая вперед, на узкую улочку, где и правда у ограды высокой, в прошлом желтой церкви — без креста и с наглухо забитыми окнами — бесшумно колебалась черно-серая, как стая городских ворон, толпа.

«Действительно, — прошла отчего-то страшная мысль. — Ни одной вороны по дороге не видели... Ни голубя, ни даже воробушка...»

— Не зевай, — подтолкнул его остро оглядывавшийся Валька. — На старух старорежимных смотри, не на теток. Что стоящее — так это у них

только. От народа в революцию по дырам попрыгали, теперь вот вытаскивают. Потому что с карточкой иждивенческой и в магазин ходить нечего: сразу помирать ложись... Да шевели давай копытами своими, я пока вокруг погляжу, чтоб ничего такого...

Борис нерешительно побрел вдоль ограды, на каменном основании которой, очищенном от снега, на пожелтелых газетных листах разложены были нехитрые сокровища безвозрастных ленинградоков, молча стоявших с иззелена-серыми лицами и глубокими провалами погасших глаз, очерченных зловеще темными кругами. Но одна из них вдруг встрепенулась при виде кого-то знакомого:

— Здравствуйте! И вы тоже здесь? А я — вот видите... Ну, как живете?

— И вам не хворать... Как живу? Да как трамвай четвертого номера... По Голодаю, по Голодаю — и на Волково... — ответил ей сиплый бесполоый голос, и, к немалому удивлению, Борис услышал сбоку что-то вроде короткого и слабого всплеска смеха.

До него не сразу дошел нехитрый каламбур: ведь верно же, что четвертый трамвай ходил до войны с острова Голодай через весь город до Волкова кладбища, и тащился так нестерпимо долго, что веселые пассажиры (может, прямо в пути!) сложили про него вполне приличную частушку: «Долго шел четвертый номер, на площадке кто-то помер...»

— По-го-ло-да-ю... — шепотом недоуменно протянул Борис. — Ох ты, Господи! Они еще шутят тут!

Он заковылял быстрее, невнимательно разглядывая все эти почерневшие серебряные ложки, никому не нужные эмалевые рюмочки, нежные отрезки замороженного крепдешина — и вдруг в чьей-то на миг разжавшейся шерстяной варежке что-то блеснуло. Кольцо. Не очень тонкое, гладкое, вовсе без камня. Он знал — обручальное, такие надевали до Октября в церкви жениху и невесте. У его мамы тоже раньше такое было, потому что с покойным мужем, погибшим под революционным поездом еще до рождения первенца, ее соединил навеки в скромной пригородной церквушке красивый седокудный священник в начале веселого восемнадцатого года. Мать то кольцо от

греха унесла в Торгсин — просто чтоб не заметил никто и с вопросами лишними не пристал.

— Что вы за него хотите? — робко спросил молодой человек высокую, неуловимо надменную старуху с уже прозрачным, как капля воска, лицом.

— Что дадут, — со странным равнодушием ответила женщина.

— Вот, у меня тут... — он торопливо распахнул бушлат, стеснительно показывая голубоватую банку, набитую плотно спрессованной пшеничной коркой. — Вроде как каша... Пшеничная...

— Хорошо, — и она протянула кольцо, бросив на него последний, исполненный непонятого горя взгляд.

— Не надо! — неожиданно для себя отвел ее руку Борис. — Так берите... Мне не нужно... Что я — какой-нибудь... — Не глядя, он ткнул в ее сторону банку и, неловко наступив на короткую ногу, отчего его едва не мотнуло лбом об ограду, бросился прочь.

— Юноша! — каким-то образом она сумела догнать его и уже стояла рядом, быстро засовывая ему в рукавицу что-то маленькое и холодное; ее глаза словно прорезались на лице слабым сероватым светом: — Возьмите. Это не в обмен, это я вам просто... дарю. Все равно скоро... соседке достанется. Не хочу... А у вас, наверное, еще будет невеста...

— Я женат... — прошептал Борис и трудно сглотнул.

Между ними, юркий и верткий, как маленький ужик, возник вездесущий Валька, оттесняя его от женщины и радостно бормоча:

— Толкнул? Покажи! С почином тебя! Видишь, как просто? На той неделе опять наладимся. А я тоже не пустой... Хоть костюмчик и не выторговал, но клёши матросские, новые совсем, — смотри... — он взялся было за пуговицу своего ребячьего пальтукана на вате, но в ту же секунду у них под ногами отчетливо дрогнула земля, а в уши врзался парализующий вой сирен, взревевших разом со всех сторон.

Толпа словно покачнулась и сразу начала странно быстро редеть, хотя секунду назад люди еле передвигались. Растерянного Бориса кто-то больно толкнул в ребро: это Валька, успев мгновенно сориентироваться на местность, разворачивал его, глупо торчавшего посре-

ди улицы, лицом в другую сторону — туда, где на стене дома было крупно намалевано неровное слово «Бомбоубежище» и тянулась от него влево жирная черная стрелка.

— Бежим! — успел крикнуть мальчишка — и тут позади них жахнуло.

Оглохший на миг Борис повалился ничком в бурый истоптанный снег — но земля вдруг оказалась ненадежной: она ходуном ходила под ним, будто хотела разверзнуться, сверху сыпалось что-то тяжелое, безболезненно и бесшумно ударяя его по спине, а потом глухую ватную мглу разорвало частыми округлыми ударами, словно небывалая гроза спустилась с небес на землю среди зимы: это снаряды тесно ложились на близкую площадь... Борис ни о чем не думал, ничего не боялся, он был не он среди внезапно открывшегося ада, который, как оказалось, все это время спокойно существовал, невидимый, совсем рядом и вот теперь взял и перешагнул неведомую границу.

Тишина обрушилась так же внезапно, как грохот. Это была относительная тишина — звуки разрывов постепенно удалялись куда-то назад — туда же, откуда пришли, словно откатывалась чудовищная сокрушительная волна. Борис не трогался с места, охваченный невероятной, никогда не испытанной усталостью, — такой, будто всю ночь ворочал упорные камни в грохочущем подземелье, выбрался наверх, упал — и теперь не мог пошевелиться. Каждая клетка мелко дрожала в нем, не было сил глубоко вздохнуть, повернуть голову, опереться на руки.

— Да нет, ничего, тут только двоих убило, — донесся до него, как из шахты, далекий человеческий голос. — А кто под оградой лежал, тех даже не ранило никого. — Голос приблизился и навис: — На проспект их, что ли, оттащить? Пусть полежат там на виду, может, заберут... Да погоди ты, посмотреть надо, вдруг у них карточки с собой. Ну-ка, помоги этого перевернуть...

Жесткие руки впились ему в плечо и бок, затрясли, потянули — Борис встрепенулся и открыл глаза: прямо перед ним скалился длиннозубый скелет в мятой барашковой шапке и круглых очках, отражавших двух крошечных черных человечков на мутном фоне.

— Ты чего, живой, что ли, парень? — вяло удивился скелет. — Ну, извиняй тогда. Ранен?

Нет? Контужен, значит. Повезло. А вот малой, похоже, отмучился, — и он медленно указал очками куда-то вправо.

Борис кое-как повернулся всем корпусом, и сначала ему показалось, что он чего-то недопонял: лежал рядом с ним Валька как Валька, с обычным усмешливым прищуром смотрел в белое небо, и небо тоже смотрело ему в глаза, выветляя их и слегка туманя. Второй скелет, точно такой же, как первый, только без очков и в ушанке, слегка поддерживал мальчика под плечи, словно желая помочь ему подняться.

— Ему осколок прям под левую лопатку вошел. Во-от такой. Во-от настолько, — показал он желтыми косточками пальцев и стал неуклюже вставать с бордового снега.

Никто больше не обращал внимания на Бориса, он так и остался сидеть рядом с постепенно застывающим Валькой, не чувствуя ни холода, ни страха, ни боли в своей неловко подвернутой злосчастной ноге.

Вновь по соседству загрохотало железом, но негромко и неопасно: это подкатила дребезжащая полуторка, груженная кое-как сваленными бревнами. Открылась водительская дверца, высунулась очередная черная ушанка над острыми, туго обтянутыми скулами:

— Только один? — раздался зычный вопрос. — Ладно. Если б вмерз — ни за что бы не стали выколупывать. Но раз свежий, то возьмем.

Борис, не понимая, наклонил голову.

— Так помогай давай, расселся тут! — крикнули ему.

Из кабины с обеих сторон без спешки вылезли два одинаковых человека в ватных штанах и валенках, так же неторопливо отвалили задний борт грузовика — и почти опомнившийся Борис помог им погрузить в машину легкого, еще гибкого Вальку. Только тогда он заметил, что суковатые бревна в кузове — это вовсе не бревна, а мертвые люди, наваленные друг на друга, как мороженая рыба, горой вытряхнутая из ледника на прилавок. Очень близко он увидел улыбающееся женское лицо в мелких кристалликах снежной крупы, а потом не мог оторвать рук от борта машины, заметив, что Валькины глаза словно подернулись пленкой, превратившись в слепые бельма.

— Братишка? — с неожиданным сочувствием

спросил один из мужчин и откровенно прибавил, понизив голос: — Может, есть чего на помин души?

— Есть, — Борис быстро расстегнул Валькин уже ледяной пальтоуган и извлек из-за пазухи черный сверток. — Клеши матросские. Хочешь — сам носи, хочешь — выменяй что-нибудь, — кивнул на ужасный груз: — Куда вы их теперь?

— На Ваську, — ответили ему. — У Смоленского там пока складываем. Земля оттает — похоронят, говорят... Ну... Бывай.

Смутная мысль вдруг заколотилась, как второе сердце:

— На Ваську? Можно мне тоже?

Мужички равнодушно переглянулись, и один сказал:

— Только в кабине места нет, с ними поедешь, если не боишься.

Борис молча кивнул и тяжело закинул больную ногу в открытый кузов. До войны Кира жила на девятнадцатой линии. А неясная поначалу мысль, теперь все ярче разгоравшаяся, была проста и невероятна: «А вдруг она вернулась?» — глухо стучала в нем, как безгласные попугайчики друг о друга и о деревянные борта.

Выполнить обещание «приглядывать» за остающейся в полном одиночестве тещей, данное Кире в их последнюю скомканную встречу, Борису до сих пор не удавалось. Он смог навесить ее только однажды, еще до своего устройства на работу в Смольный (помнится, кончался октябрь, и умирающий клен за Кириным окном торопливо сбрасывал под хлестким ветром дырявую, как молью поеденную, грязно-желтую листву), — и нельзя сказать, чтобы ему был оказан уж очень теплый прием. Тогда он робко выложил на круглый стол, покрытый хоть и штопаной, но явно ценной старинной скатертью, белую банку крабов «Чатка» из тех, что в конце первого военного лета можно было купить в Ленинграде безо всяких ограничений — словно раньше благодаря очередному странному запрету они лежали на каком-то таинственном складе и вдруг были разом выброшены в продажу. Мать Бориса запасла их тогда целый ящик, но сын ее даже от запаха всего «рыбного» упорно воротил нос еще с детства и осенью тайком раздавал банки в подарок тем,

кто пока так или иначе не покинул город. Теща, несколько осунувшаяся и потемневшая лицом, сдержанно поблагодарила за гостинец и поставила банку на старинный резной буфет, а разговор все не желал налаживаться. Нет, она тоже не получала письма от Киры... Да, девочки и бабушка здоровы, живут в Омске... Конечно, она сообщит, если будут известия... Спасибо, ни в чем пока не нуждается... Несомненно, война скоро кончится и Кирочка вернется...

Борис заметил, что женщина украдкой бросает взгляды на буфет с красовавшейся банкой, и стал прощаться, усмехаясь про себя: вот сейчас он уйдет, а она сбросит всю свою гнилую интеллигентность, накинется на этих вонючих крабов и, пожалуй, банку зубами прокусит. Он задолго до свадьбы чувствовал, что теща активно не одобряет выбор своей дочери — именно из-за хромоты жениха. Боялась, что злостно придумал ее коварный зять свой оскольчатый перелом со смещением, а на самом деле — колченогий он от рождения, а стало быть, дети его такими же родятся, если не хуже.

В последних числах ноября он порывался к ней снова, хотел отнести хлеба, что пока ненормированно лежал на столах в южном крыле, — но нарвался на строгий материнский выговор: «Ташиться на Васильевский — чай, не ближний свет. Придешь к ней, а она эвакуировалась. Сейчас все эвакуируются. И куда ты такой после этого денешься?»

Пройти метров восемьсот от Смоленского кладбища до знакомого дома оказалось нелегкой задачей. Прямой путь по линии преградила огромная воронка прямо посреди улицы, огороженная колючей проволокой (не досками: те давно бы унесли на дрова), с нацепленными по всему периметру объявлениями: «Осторожно! Неразорвавшаяся бомба!» — и пришлось искать проходные дворы. Борис помнил их достаточно ясно, ведь именно в них, во всех подряд, они целовались с Кирой весной теми самыми «ненастоящими» поцелуями. Но, уверенно свернув под первую же арку, почувствовал себя как на Марсе — только вот Аэлиты нигде не было. Снега во дворе стояли до окон второго этажа, тошнотворно воняло нечистотами, узкая натопанная тропинка, отвратительно желто-коричневая, вела словно в никуда, и, дважды упав по дороге в

мерзкий сугроб, Борис еле выбрался обратно к затаившейся под землей бомбе. Не желая более рисковать, он пошел в обход через Малый, мучительно пробирался среди сугробов, падал, кое-как подымался и, наконец, зайдя с другой стороны, полностью измочаленный, выкарабкался на финишную прямую. До него уже дошло со всей несомненностью, что мысль, внезапно посетившая его у груженной трупами полуторки, была такой же безумной, как и всё, происходившее с ним сегодня: ведь если бы Кира вернулась — разве не побежала бы она сразу к нему? Но вот письмо от нее прийти могло. А что! Она ведь за «кольцом» воюет, написала, наверное, и матери, и мужу, а до него просто не дошло. Бывает ведь? Сплюшь и рядом! Он просто спросит и уйдет. Да, и еще отдаст теще свою «общегородскую» карточку. Наплевать, что без нее он лишится в Смольном битка на второе — да и не лишится вовсе, там свои люди, всегда подкинут калеке кусочек, голодным не оставят. А домой — в опрятную комнату, где стоит круглый стол, покрытый нарядной клеенкой с гвоздичками, где уютно трещат в «голландке» осиновые полешки, выписанные маме еще в конце лета, где в углу, за занавеской, есть старая чудная раковина, куда из медного крана шумно бежит теплая белая вода, — домой мама из своего «северного» тоже приносит поесть, у них и сейчас между рамами грамм двести сыру лежит и тушеное мясо в кастрюльке... Только бы благополучно добраться — а то вон опять где-то, кажется, бахает, да и нога разболелась с непривычки.

«Ну, вот и он, кажется...» — день уже незаметно подернулся первыми сумерками, когда Борис в изнеможении прислонился к стене Кириного дома, снял шапку и вытер вспотевшее лицо. Ближнее окно первого этажа было заколочено дырявой фанерой — и что-то невнятно тревожное почудилось в этом. Он тупо пригляделся к фанере: почему в дырку просвечивает не кромешная тьма, а яркая белизна, словно за ней — заснеженная улица, а не комната? Ответ еще не пришел, но сердце уже остановилось: только эта фасадная стена и уцелела от старого питерского дома. И фанера случайно осталась лишь на нижнем этаже. Все остальное превратилось в невысокую гору грязного мусора вперемешку с вездесущим

снегом, который, казалось, действовал той зимой в Ленинграде заодно с врагом.

И вовек бы ему, быть может, не увидеть больше родного Смольного, не услышать добрых маминых упреков, да и просто не согреться бы уже никогда, если б в армейской полуторке, медленно ехавшей по памятной набережной, где всего полгода назад он с храбростью отчаянья нырнул в ледяную пучину у памятника Крузенштерну (теперь заваленного мешками от пьедестала до макушки), не нашелся добрый, махоркой пропахший пехотный старшина, что углядел из кабины тяжело хромящего парня, что обреченно брел вдоль фасада Горного института. Он, скорей всего, принял его за отвоевавшего свое фронтовика:

— Эй, служивый! В ногах правды нет! Хочешь — полезай к бойцам в кузов!

А они уж и руки тянули, невесело балагурия на его счет. Борис от усталости и растущей боли даже не спросил, куда они направляются, но волшебным образом — на Охту. А там ведь только через мост перебраться как-нибудь... Лишь бы не обстрел...

...В столовую южного крыла он ввалился ни жив ни мертв, как сорок лет промыкавшийся по пустыне еврей на Обетованную Землю, за полчаса до начала своей смены — легкой, ночной: только тихий огонь в печи поддерживать, чтобы тех несчастных «аппаратовцев», которым до утра неумные «секретари» не дают покоя, могли тут в перерыве чайком напоить с пирожком горяченьким. В кухне еле доковылял до плиты, прислонился к ее теплоту, будто мамину боку, прикрыл глаза, стал было думать, как рассказать о Вальке... И чуть не заснул на месте, а когда потрясли, с трудом приподнял веки. Трясла его тетка Вера с задачи — не по вине блокады, а по жизни худая, как швабра, — трясла и шипела:

— Рехнулся, что ли, — на кухню в уличном, да еще в валенках! Господи, совсем с ума посходили! Хорошо, завстоловой спать ушел, а то б ты кувирком отсюда сегодня же вылетел! — и вдруг осеклась, увидев его тяжелый отрешенный взгляд. — Случилось чего?.. Шапку давай, ватник тоже, уберу от греха... Сейчас халат тебе принесу, посиди тут покуда.

Сделав несколько шагов прочь, она обернулась, глянула исподлобья, поджав губы:

— Горе у нас — не слышал еще? Баба одна из той смены погибла. Увольнительная у ней сегодня была, к родне она в город бегала. Обстрел начался — и первым же снарядом... Прямо тут неподалеку, потому и знаем... Такие вот дела...

Она убежала и почти сразу вернулась с халатом на плече, а в руках принесла две дымящиеся тарелки:

— Кисель тебя, извини, не дождался. Биток вот ешь. Картошка, правда, сухая, подливку сегодня «аппарат» слопал... Зато супа зеленого полторы порции — и яичко тебе я туда порезала. Хлеба вон бери... Да не надо мне твоей карточки, мы и так споем. Сметану эту маманя твоя передала нам из «секретарской» — только сегодня, говорит, из Мельничного доставили. Наворачивай! Оголодал, небось... По бабам, что ли, таскался? Шучу, не бойсь. А хоть бы и так — дело-то молодое, не все же в соломенных вдовцах ходить.

— Под обстрел я попал, тетя Вера, — пробормотал Борис с набитым ртом: голод, как-то позабытый в городе от переживаний, теперь просто бурлил в нем, требуя немедленного утоления.

— А-а, — протянула она. — Наверно, под тот же, что и Зинка... Не повезло бедолаге... Сынок у нее тут остался — Валька, вертлявый такой пацаненок, с тобой ведь он в смене? Значит, прибежит сейчас... Круглый сирота теперь — на отца еще в июле похоронка была. Сообщить бы ему о матери, да как ребенку такое скажешь... — Вера рассеянно глянула на круглые часы, что висели прямо над ними на высокой стене, выложенной стерильным белым кафелем: — На десять минут опаздывает. В другой день так бы ему всыпала... А сегодня... Не знаешь, где носится? Не видал?

Борис медленно положил ложку на стол, справа от пустой тарелки, и кусок хлеба — по левую сторону. Коротко мотнул головой:

— Не знаю, — ответил. — Не видал.

3

Обручальное кольцо, подаренное бабушкой, влезало ему только до второго сустава безымянного пальца. Борис изредка доста-

вал его из дальнего угла обширного ящика в письменном столе и каждый раз примерял то на правую, то на левую руку, словно надеясь, что оно чудесным образом выросло и теперь возьмет и наденется. Но это было Кирино кольцо. Оно ждало ее уже больше двух лет и все никак не могло дожидаться. Как и он до самого начала сорок четвертого не дождался ни собственноручного ее письма, ни хотя бы косвенной, недостоверной вести о ней.

Он уже не был в «южной» столовой презренным «кухонным мужиком», год назад получив неожиданное повышение до помощника повара, — и под руководством степенной и правильной поварищи Варвары, гордо носившей, как корону, высоченный белый колпак, со странным азартом постигал премудрости правильного приготовления пищи. С начала года продуктовые ограничения у них почти исчезли — и Варвара вдохновенно изобретала новые «невоенные» блюда, удивляя оживившийся «аппарат» подзабытыми в блокаду сложными соусами.

Как больной после комы, город понемногу опомнился, начал поднимать голову, неуверенно вдыхал полной грудью и вскоре даже принялся решительно чистить золотые свои перышки. Модно стало среди постоянных жителей-«смолян» посещать активно заработавшие театры — особенно имени Кирова. Впрочем, его предпочитали называть не в честь убиенного первого секретаря обкома («Не к ночи будь помянут», — шутили самые смелые), а по-свойски ласково — Мариинка.

Настал однажды день — не по-февральски солнечный, словно март ненадолго забежал вперед и лукаво заглянул в их широкие окна. Борис ловко, уже привычными движениями, потрошил одну за другой упитанные куриные тушки, только что поступившие из бесперебойно снабжавшего Смольный всю войну подсобного хозяйства в Мельничном Ручье, и рассеянно слушал рассказ круглоглазой официантки Сонечки, приглашенной вчера одноруким, но бравым капитаном-летчиком в оперу:

— Слушай, ну, цены у них в буфете, доложу я тебе... Представляешь, одно яблочко — пятнадцать рублей, а плитка шоколаду — сто тридцать! А Коля мой мне целых три пирож-

ных купил, каждое — пятьдесят рублей стоит! Сам бутерброд с колбасой съел — за двадцать пять... И конфеты...

— Борис, — перебила ее возбужденный стрекот раздатчица Марья Ивановна, — вас на вахте какая-то девушка спрашивает, военная.

Он впервые за многие годы забыл про свою короткую ногу и почти не сгибающееся колено. Обе ноги несли его по бесконечным коридорам, как равноправные, здоровые, дробный топот их заглушал удары сорвавшегося сердца. Пропуска при нем не оказалось, но на вахте Бориса знали и только кивнули — да и захоти они остановить пролетевшего мимо, как снаряд, повара в заломленном на затылок колпаке, вряд ли бы преуспели. Он выскочил на узкую улочку у служебного входа — и сразу увидел маленькую девушку в грязно-желтом армейском полушубке с сержантскими погонами, что ждала, притоптывая непропорционально большими валенками на веселом солнечном морозе. Она стояла в профиль, и опущенные «уши» форменной шапки не позволяли сразу увидеть лицо.

— Кира!.. — почти крикнул Борис со ступенек, но горло жестко перехватило.

Девушка быстро обернулась, оказавшись абсолютно незнакомой, черноглазой, смугло-румяной красавицей, и без улыбки направилась к нему:

— Вы ведь Борис? Здравствуйте. Я — Лиза. Вы ничего... обо мне не знаете?

Голос еще не вернулся, и он смог только отрешенно покачать головой. Румянец сошел с лица девушки — будто просто потух.

— Значит, не вышли... — прошептала она в сторону, и вдруг стало ясно, что это вовсе не юная девушка, а взрослая, много чего повидавшая женщина.

— Откуда?.. — хрипло вырвалось у Бориса.

Лиза помолчала с полминуты, кидая быстрые взгляды на трясшегося крупной дрожью молодого человека, и наконец осторожно дотронулась до рукава его белого халата:

— Вы не замерзнете?

А он и не замечал, что стоит на морозе без теплой одежды, даже не понял, о чем она спрашивает, трудным оказалось только перевести дыхание:

— Вы воевали вместе? — спросил уже ровнее.

— Не успели, — криво усмехнулась она, — по-воевать. Мы на сержантских курсах познакомились — еще здесь, в Ленинграде. А в эшелоне, когда на фронт везли, сговорились: если со мной что случится — она моих родных найдет, а если с ней... то я. Ну, моих-то родных... — ее руки в огромных брезентовых рукавицах отчетливо задрожали, но она справилась с собой. — Моих родных никто уже не найдет, а ее... На Васильевский я ходила, от дома только одна стена сохранилась... Тогда я — сюда, думала, может, вас разыщу. И точно...

— Да что вы тут мямлите! — вдруг грубо выкрикнул Борис. — Говорите уж сразу! Она погибла?!

Лиза не обиделась — только чуть сдвинула брови:

— Не знаю. До части так и не добрались — эшелон наш почти сразу разбомбили, и мы, кто уцелел, попали в окружение... Впрочем, тогда это немудрено было. Мне осколок угодил — вот сюда... — девушка ткнула рукавицей себе куда-то в бок. — Кира меня перевязывала на какой-то кочке, а кругом грохотало и свистело — это я еще хорошо помню, но уже, знаете... Я словно не там была, а из другого места смотрела... Потом Кира с девчонками — и бойцы еще какие-то к нам прибились — тащили меня на себе через лес по очереди. Дальше — отрывочно... На какой-то проселок выбрались — там грузовик с ранеными чинят. У кабины врачиха молодая плачет, а рядом — весь в бинтах лейтенант с пистолетом. «Только раненых, — говорит, — возьму, остальные не поместятся. На полном ходу прорываться будем, может, в нас и не попадут. Проскочим — наше счастье, а нет — так ведь все равно хана». Когда поднимали меня в кузов, Кира рядом стояла и пыталась улыбаться сквозь слезы, кажется...

— Проскочили? — потрясенно спросил Борис.

— Как видите, — пожалала плечами Лиза. — Воевала я после госпиталя на Большой земле, так что выяснить что́ тут, как... Сами понимаете. Да и столько я уже за два года... Кроме Кир... — она на миг зажмурилась. — Здесь я не в отпуске — командировку у командования выбила. Идти пора. Дел еще невпроворот... — она качнулась было в сторону, но остановилась: — Слушайте, а как это — у вас жена «без вести», а вас из Смольного не выгоняют?

— Я не знал... — прошептал он. — И до начальства, наверное, не дошло еще...

— Теперь дойдет, не сомневайтесь, — вздохнула она. — Ну... приятно было позна... То есть... В общем, удачи вам, — она протянула крошечную жесткую руку, которую Борис автоматически пожал.

На кухню он не вернулся — там, наверное, подумали, что к Борису приехала жена, и готовились к большому празднику — а медленно прошел прямо в хозчасть, в свою золотую от неожиданного сегодняшнего солнца комнату. Двигаясь скупно и осторожно, словно боясь резким движением взвихрить в душе неведомую и страшную бурю, Борис сел за письменный стол и машинально достал из ящика кольцо. Ничего не изменилось на столе — все было точно так же, как он оставил утром. Так же сдержанно улыбалась ему Кира со своей единственной фотографии, которая от нее осталась, — зато художественной, с тщательной ретушью — такой, что девушка выглядела гораздо красивее, чем в жизни. Только если раньше Борису казалось, что снимок каким-то образом соединяет его с женой, будто готовый распахнуть дверь в тоннель, устремленный сквозь время и пространство, пусть длинный и узкий, но ведущий к ней, то теперь — он четко это понял! — эта дверь была захлопнута навеки. Но странное дело! Одновременно чувствовалось, что есть где-то и другой путь, более надежный, но который еще предстоит найти...

Перед тем как убрать кольцо, Борис снова примерил его на левый безымянный палец, и, как всегда тугое, оно сначала дошло только до второго суставчика. Но то ли немые его пальцы еще сохранили жир выпотрошенных недавно кур, то ли случайно он подтолкнул кольцо сильнее, чем обычно, — только вдруг, причинив короткую боль, оно быстро проскользнуло через сустав и дальше оказалось совершенно впору.

Милая Мила



Ночь долгая. Под одеялом у Бабушки густое и душное тепло. Они с Милой всегда спят на одном широком диване — так уж повелось с самого начала, с того дня, что Бабушка взяла Милу жить к себе. «Того дня»? Она едва ли понимает, что такое — тот день... Ну, просто день — что-то почти знакомое: это когда за окном становится светло-светло, и Бабушка — грузная, как узел с бельем, в одной длинной-предлинной рубашке, с растрепанной светлой косичкой через плечо, выбирается из уютной постели, пошире раздвигает тяжелые шторы и задумчиво говорит: «Ну, вот и еще один день пришел». Тогда Мила тоже выпрыгивает из постели, бросается к окну, тревожно смотрит в их скудный дворик, никого там не видит и начинает изо всех сил толкать Бабушку головой, вопросительно заглядывая ей в глаза:

— М-м? М-м? — громко стонет она.

Это Мила хочет спросить: «Кто? Кто пришел?» — но говорить ей так и не удалось научиться, сколько она ни старалась. Со временем она, правда, поняла, что «день пришел» — означает, что за окном стало светло и он, этот День, будет здесь до тех пор, пока не стемнеет, — и тогда придет Ночь. И станет хлопать от сквозняка вечно открытая форточка, а в тревожных ночных отсветах наискось помчатся тучи больших белых бабочек. Миле их не достать, этих ледяных бабочек. Правда, однажды, когда Бабушки не было в комнате, она ухитрилась взобраться на подоконник, оттуда кое-как дотянуться до форточки — и одна бабочка села ей прямо на нос! Села — и сразу укусила ее маленький носик мгновенным холодом! А потом пропала... Нет, это оказалась совсем не такая бабочка, которую однажды посчастливилось поймать, когда во дворе было тепло-тепло, как у Бабушки в кровати, и Мила часами просиживала у открытого окна. Бабочка долго летала перед ней — жирная, белая — и дразнила, дразнила Милу своей наглой легкостью. А Мила не будь душой: напряглась и — хватать! Сильными пальчиками сжала белую пленницу намертво и отправила в рот — даже не поняла, как это получилось: ведь хотела только рассмотреть... Она не успела оценить — вкусно ли ей, когда в комнате откуда-то появилась Бабушка, всплеснула руками и кинулась к Миле с криком:

— Что ты делаешь! Выплюнь! Плюнь сейчас же! Скажи: «Тьфу!»

Мила любила делать все наоборот — не по своей воле, а просто так выходило, поэтому она, как могла крепко, сжала челюсти — и тогда Бабушка принялась раскрывать ей рот наильно, запрокинув несчастной голову и зажимая нос.

— Какая гадость! — приговаривала она. — Какая гадость! Это же бабочка! Как ты только можешь! А если она какая-нибудь ядовитая?!

Зато так Мила узнала, что все белое и легкое, что летает днем и ночью, в жару и в холод, мимо их окна, называется «бабочка»...

Ночь скучная. Когда Бабушка спит, играть с ней нельзя, нельзя даже ее трогать: если ее разбудить, то она станет злая-злая и может даже больно и звонко шлепнуть Милу по голой попе. А Миле почему-то именно ночью не хочется спать. Она выпрастывает голову из-под одеяла и с тоской смотрит на недоступных бабочек, мчащихся в квадратике открытой форточки. Бойко и ритмично щелкает большая, злобная круглая штука под названием «будильник» — Мила его ненавидит и все время норовит бросить на пол, но в бабушкином присутствии этого делать нельзя: сразу получишь «по попе». Зато когда Бабушки нет в комнате и Мила сталкивается взглядом с хищной мордой будильника, она с наслаждением швыряет его на пол и топчет, топчет, а он все не замолкает. После этого главное — успеть отбежать подальше и как ни в чем не бывало усестся в кресло перед телевизором, чтобы Бабушка не знала, что это Мила скинула противную штуковину, а подумала бы, что она сама спрыгнула на пол. Но та все равно откуда-то знает, что произошло, как будто стояла рядом и все видела. Мила совершенно не понимает, как такое возможно!

— Ы-а! — кричит она. — Ы-э! — ей хочется сказать, что это не она, не она, но, как всегда, стоит раскрыть рот — и оттуда вместо таких понятных ей человеческих слов вырываются странные гортанные звуки.

— Не ты, говоришь? — отлично понимает ее Бабушка. — А кто еще, интересно? Вот я тебе сейчас...

Мила стыдливо отворачивает голову, и женщина сразу смягчается:

— Ах ты, бедная моя девочка... И чем только тебе мой будильник не угодил?

Ее теплая ладонь ложится Миле на лоб:

— И какая же ты всегда горячая... Надо будет опять врачу показать тебя и спросить — нормально ли это? И ведь вроде здоровая... Бегаешь вон — дай бог каждому...

Ночь тягостная. Звуки ее одновременно призывны и враждебны. Тысячи шорохов, стуков, вздохов, колебаний воздуха — все это слышит Мила, ведь она не умеет только говорить, зато все остальное делает лучше многих! Ей тревожно, сладко, мучительно, словно откуда-то доносится соблазнительный дремучий зов — пойти бы ему навстречу, но куда, куда? Да и страшно, тесно где-то внутри... Мила боязливо заползает обратно под одеяло, приваливается к теплому бабушкиному боку. Тут безопасно, родной запах обволакивает чуткие ноздри... Спит Мила. Сладко спит, пока опять не приходит этот... которого зовут День.

Они с Бабушкой не всегда бывают только вдвоем. Иногда приходят другие бабушки, и тогда все сидят за столом, едят, пьют и разговаривают. Мила тоже сидит за столом со всеми, у нее есть свой личный стул, который никто не трогает, — она внимательно слушает, стараясь уловить смысл слов: не опасно ли что-нибудь для нее? А может быть, наоборот, — хорошо? Другие бабушки тоже иногда к ней обращаются, в основном предлагая что-то съесть, и Мила иногда соглашается, а иногда — нет, по настроению. Но ни одна из бабушек, кроме собственной, ее не любит — это очень понятно. Да они этого и скрывать не собираются! Вот одна — от нее нестерпимо несет цветами, почти как от огромного красного веника, который однажды принес Бабушке ее Друг (который вообще-то хороший, но в тот раз Миле было не дышать — даже все остальные запахи надолго пропали) — так вот, эта чужая Бабушка спрашивает Бабушку настоящую:

— Слушай, зачем она тебе? — и откровенно показывает на Милу. — Такой ужас...

— Действительно, — поддерживает ее другая. — Ради чего ты ее взяла?

— Очень жалко стало... — тихо говорит Милина Бабушка. — От нее племянница моя отказалась. Мужика себе нашла, а он ей — вот как ты

сейчас: «Какой ужас!» Говорит, мол, либо она, либо я... В какой-то там приют ее сдать хотели... А я как в глаза ей посмотрела... Ей два годика тогда было уже, и такая домашняя... Ну как ее в приют! Совсем с ума посходили люди! Не позволила сдать — и ни разу не пожалела... Говорю ей: пойдешь ко мне жить? Буду твоей бабушкой... Уход за ней минимальный... Ну, шарахаются некоторые с непривычки... А потом — ничего... Привыкаешь ведь. Мы большие друзья, да, Мила?

— Кстати, насчет глаз — это правда, — неожиданно соглашается до того молчаливая самая маленькая бабушка. — Просто васильки! И разрез такой красивый... Если б не всё остальное...

— Бр-р... Я лично никогда не привыкну, — упорствует та бабушка, что вонючая. — Хотя она у тебя уже сколько? Лет семь, кажется? Ну, тогда недолго осталось — такие ведь, наверно, много не живут?

— Еще как живут! При хорошем уходе! — испуганно восклицает настоящая Бабушка, прижимая Милу к себе: — Не слушай ее, не слушай, хорошо? Ты проживешь еще долго-долго, ясно? Мы всегда будем с тобой вместе... — и к подруге: — Хоть бы при ней помолчала! Она же все понимает! И теперь начнет мучиться!..

— Иди ты! — принужденно смеется та. — Понимает... Какие у нее мозги... Она даже не понимает, что такое жить... А уж умереть... — и машет огромной рукой с длинными коричневыми когтями.

Напрасно она так думает. Мила прекрасно знает, что такое жить. Это когда ты просто есть. И рядом — Бабушка. И приходит День. Творог со сметанкой на тарелочке... Смешные непоседливые пятнышки на спинке кресла — ты пытаешься их поймать, но они всегда убегают. И еще ты обнимаешь Бабушку, когда вы вместе смотрите телевизор — это такое окошко в коробке, где все мелькает, мелькает... Интересно... Жить — это еще когда пахнет курочкой и тебе сейчас дадут попить теплого бульону... А потом День куда-то уходит, и вместо него откуда-то появляется Ночь. И это тоже неплохо, только по-другому. Это тоже — жить. Волноваться. Хотеть чего-то непонятного. То проваливаться во тьму, то выныривать туда, где ровно дышит Бабушка и летят белые бабочки...

Однажды вынырнуть — и увидеть, что День уже пришел... Без тебя. А умереть — это, наверно, просто не вернуться из тьмы... Нет, Мила хочет всегда возвращаться... Она обязательно будет возвращаться... Тьма никогда не возьмет ее себе навсегда. Ни ее, ни Бабушку...

Тот дворик, что только и виден из двух их с Бабушкой окон, — кухонного и комнатного, — очень маленький, даже Мила это понимает. «Наш колодец», — называет его Бабушка — а вот что такое колодец, не объясняет. Кругом высокие желтоватые стены, а посередине будто бы диван, только жесткий (Мила однажды сбежала из дома через окно и попробовала на ощупь). Это — скамья; хотя у нее и есть крепкие ноги, она никогда не бегаёт, всегда неподвижно стоит под огромным кривым деревом. А дерево это очень красивое. И умное. Гораздо умнее Милы. Та относится к нему с уважением и, когда окно в теплое время совсем открыто, пытается крикнуть во весь голос: «Эй, дерево! Слышишь меня? Я — Мила!» «Э-о-о!» — вылетает из ее груди. — Э-э-а! А-ми-а!» Дерево не понимает Милу, но иногда машет ей своими мохнатыми руками. У него много рук, и всеми руками оно то ли приветствует Милу, то ли хочет схватить ее и съесть, и тогда становится шумно и страшно...

На другой стороне двора в желтой стене — два маленьких окошка. Когда приходит День — они темные, а если Ночь — светлые.

— Видишь те окна? — указывает иногда Бабушка, стоя рядом с Милой и глядя вместе с ней во двор. — Там живет наш с тобой Дима. Мой друг. Вон, вон его тень мелькает за занавеской!

Мила высвобождается. Она всегда так делает, когда совсем не верит в то, что говорит Бабушка. Когда ей абсолютно ясно, что такого не может быть. Например, те окна такие крошечные, а Друг — он же Дима — такой большой. Как он может поместиться в маленькое окошко? Вот она, Мила, сегодня хотела забраться в шкафчик на кухне — и не поместилась. А шкафчик-то ведь больше окошка!

— В том доме, за теми окнами, тоже есть небольшая квартирка, — втолковывает ей Бабушка. — Почти как наша с тобой, Мила. Только у нас одна комната, а там — две. Дима в них жи-

вет со своим внуком. Вернее, не со своим, а своей покойной жены. И они так плохо живут, Мила, — ты не представляешь... Он такой нехороший юноша, этот его Юрка! Так обижает моего Диму, так обижает... Ах, Мила, Мила, ничего-то ты не понимаешь, ничего не ответишь мне, не посоветуешь... А надо ведь что-то делать... Что делать-то, Мила?

Мила видит, что Бабушка расстроена, от всей души хочет ее развеселить, показать, что не нужен им никакой Друг и дела нет ни до какого непонятого плохого «юноши», им вдвоем так тепло и сытно, а когда Друг приходит, он столько съедает, что вдруг потом им с Бабушкой не хватит еды? И не будет ни творога, ни сметанки, ни курочки, ни тушеной рыбки? Но как донести это до нее, до глупой? Зачем она все время кормит ненасытного Диму, от которого пахнет... Ах, как странно пахнет от него! Когда Мила осторожно подойдет и прижмется к его плечу, то запах — нюхала бы и нюхала! Хочется головой тереться — если б только он позволял! Зато когда вытащит вдруг свою противную игрушку... Мила прекрасно знает это мерзкое слово: «Опять ты за сигарету! — кричит Другу Бабушка. — Только в ее сторону дымить не вздумай: ты же просто убиваешь этим девочку!» Друг послушно выпускает вбок одну за другой тугие серые струи, но Миле все равно становится тошно и мутно, она отсаживается как можно дальше от них обоих, но совсем уходить не хочет — слушает... Она откуда-то знает, что Бабушке очень нужен этот Друг. Может быть, даже больше, чем она, Мила... И если он ей однажды скажет: «Или она, или я...» Но он не скажет, чувствует Мила.

— А она у тебя, кстати, не такая уж и глупая... — однажды замечает Дима. — Взгляд, между прочем, почти осмысленный... Ну, страшненькая... Но ведь не совсем же до безобразия... Вон какие глаза красивые — надо только разглядеть... И что лысая — тоже можно привыкнуть... Мы ведь подружимся с тобой, Мила, да?

«Если ты не будешь есть столько курочки», — хочет ответить Мила, но молчит, потому что уже знает, что у нее это не получится. Ну, ладно, пока у них есть еда: «Переводы меня кормят, не жалуюсь», — со смехом говорит иногда Бабушка. Ага, сейчас кормят, а потом переду-

мают и перестанут. Лично Мила никогда не видела этих Переводов. Наверное, они приходят и дают Бабушке еду, когда Мила спит. А вдруг однажды не придут? Или они будут приходить и кормить ее всегда, как приходят День и Ночь?

Тянется ночь, тянется... Спит Мила и не спит... Но там, где кружат белые бабочки, становится неуловимо светлее. Значит, к ним опять идет День...

Последнее время он остается надолго, он почти всегда здесь, а Ночь... Она стала какая-то странная, почти не темная. Мила узнает, что она пришла, только когда Бабушка говорит: «Ну, все, Мила, спать пора. Видишь — давно уж ночь на дворе». Мила тотчас подбегает к окну и осматривает двор: нет Ночи. День кругом, только другой... Непонятный: звуки, запахи и чувства, как когда Ночь, а по виду — День. Тогда Миле становится так беспокойно, что спать она не может вовсе. Только дождется, пока громко задышит рядом Бабушка, и украдкой выбирается из постели. До утра она бесшумно бродит по квартире — прислушивается и тайно страдает. Ей хочется, чтобы все встало на свои места. Она ждет, не придет ли настоящий, знакомый День, а не этот, который только притворяется Ночью...

Зато когда долгожданный длинный День здесь, Мила часто остается одна. Бабушка снимает с себя легкий пестрый халат, который носит дома, если никто, кроме Дня, к ним не приходит. (Мила знает это слово, потому что, когда ей иногда хочется особенно приласкаться и она буквально повисает на Бабушке от любви, та испуганно кричит: «Осторожно! Халат мой порвешь!») Сняв халат, женщина надевает красивые гладкие платья («Как тебе мое платье, Мила?» — и готово: еще одно слово поселилось в голове у Милы навсегда). Потом Бабушка исчезает, оставляя Миле попить молока для утешения и выключая «верхний» свет. Она знает, что с Милой без нее ничего плохого не случится, Мила будет тихая-тихая, никогда не набедокурит, когда одна в квартире, а сразу ляжет спать. Иногда встанет, попьет молочка — и опять спит, пока не придет Бабушка. Она не знает, долго ли спит; иногда Ночь, похожая на день, приходит раньше Бабушки, а иногда — нет. Но услышав, как открывается дверь, Мила вмиг просыпается

и легко соскакивает с дивана. Она мчится в прихожую, подпрыгивает высоко, как только может, стараясь дотянуться до бабушкиного лица, поцеловать ее покрепче, обхватить, прижать к себе... Мила не бывает точно уверена, вернется ли Бабушка вообще, но, когда это происходит, счастья ее нет предела...

— Только не висни на мне, пока я не надену халат! — сердито кричит Бабушка, отталкивая Милу. — Это платье из бутика! Ты даже не представляешь, сколько я за компьютером горбатилась, чтоб его купить!

Про компьютер Мила прекрасно знает — это такой маленький не то телевизор, не то книжка, с которым Бабушка играет долго-долго, щелкает, постукивает, и от этого по его белому окошку бегают черненькие маленькие штучки, которые не позволяется трогать — а вот про платье уж и вовсе не понятно — что с ним не так? Она недоуменно смотрит бабушке за спину: спина вовсе не горбатая. Это у нее, Милы, горбатая, она много раз слышала, как про нее говорили:

— Смотри, какая горбатая спина! А ноги — длиннющие! Жуть!

— А мне даже нравится! — храбро отвечала тогда Бабушка.

— Не придумывай. Чему тут нравится? — отмахивались от нее. — Но раз уж ты взяла ее... Вот сама и любишься...

Бабушка надевает такой знакомый, пахнувший ими обеими халат, — и только тогда позволяет обнять себя. Она осторожно похлопывает Милу по боку, сидя на диване, и тихонько рассказывает ей:

— Знаешь, где мы с Димой были? На выставке...

Мила сердито трясет головой: ей непонятно — на чем они были? Она знает, что такое — «на диване», «на столе», «на подоконнике»... А вот — «на выставке»? Получалось, что Бабушка и ее Друг сидели или стояли на чем-то, чего Мила не могла даже вообразить, — и это ее сердило.

— Н-ны? — уточняет она.

— Ах да, тебя кормить пора! — спохватывается Бабушка и тотчас встает.

Мила опрометью мчится за ней на кухню, даже забегает вперед от нетерпения: сейчас будет весело и вкусно! Бабушка положит Миле

на тарелку теплой вареной телятины, нальет попить... А еще Мила любит сгущенку, Бабушка иногда наполняет ею маленькое блюдечко и говорит:

— Вот хоть и знаю, что вредно тебе, а не могу не побаловать...

Но сегодня нет никакой сгущенки, и телятины тоже нет — Бабушка быстро кладет в Милину тарелку что-то не очень вкусное, жесткое, а себе тарелку не достает, за стол не садится — не получится, значит, поесть с ней за компанию. Мила все равно начинает быстро и жадно насыщаться — потому что не знает наверняка, удастся ли поесть в следующий раз... Может, этого никогда уже не получится! А бабушка отстраненно стоит у окна, совсем не смотрит на свою девочку, взгляд ее устремлен туда, во двор, где в не черной и не белой ночи только горит далекое маленькое окошко. Она думает, что там ее Друг, и никак не возьмет в толк, что ему туда ну никак, просто никак не поместиться! Бабушка быстро-быстро постукивает по подоконнику своими блестящими маленькими коготками и коротко, тревожно вздыхает.

— Ах, Мила! — наконец-то говорит она. — Нельзя нам дальше бездействовать, надо что-то делать! Ведь он же уморит его! Самым настоящим образом уморит!

Она тихонько стонет, сжав кулаки и припав головой к раме, — и Мила пугается: Бабушке больно?

— Господи! — уже в голос зовет Бабушка. — Хоть Ты подскажи мне, научи, что делать! Ведь Ты-то знаешь, как я люблю его, как хочу помочь, — а он такой глупый, такой наивный, как все мужчины! — она спохватывается: — Ой, прости меня, Господи, я не Тебя имела в виду!

Вот это Мила понимает: Бабушка обращается к Кому-то, Кто главнее ее, Кого не видно и не слышно, но Сам Он всех видит и слышит — всегда. Его можно только чувствовать, но не все это умеют. Бабушка — умеет. И Мила тоже. Даже лучше, чем Бабушка. Только она не может Его ни о чем попросить, но ей это и не нужно, в отличие от Бабушки. Потому что Мила убеждена: ты Его еще и не попросишь, а он уже и Сам знает, чего ты хочешь. Только не всегда дает. Но Ему виднее. И с Ним не поспоришь. Не то что с Бабушкой...

А та сжимает голову обеими руками и замолкает, изредка всхлипывая. Мила давно уже оставила свою тарелку и стоит рядом, изо всех сил прижимая голову к ее плечу:

– М-м... М-м... – утешает она. – Уни-и-и... Уни-и-и...

– Звони? – переспрашивает Бабушка, серьезно глядя на Милу. – Молодчина. Всегда подай хорошую идею...

Она стремительно идет к телефону, Мила – трусой – за ней. Вот еще одна вещичка, которую ей никак не постигнуть. Держит человек такую маленькую коробочку около уха и говорит, говорит... Никого перед ним нет, а он отвечает, как будто кто-то что-то спрашивает. Странно... Это называется «позвонить» ему или ей. Вот Мила никогда никому не звонит. И ей тоже. А вдруг однажды позвонят? Как она будет разговаривать, если не умеет? Она пристально смотрит на Бабушку и ловит каждое ее слово:

– Вот, Мила посоветовала позвонить тебе... Ты улыбнулся?.. Да, я специально сказала так, чтобы ты там улыбнулся... На самом деле я хотела тебя спросить... Тебе случайно не нужно о чем-нибудь со мной поговорить? Я имею в виду – о важном... О самом важном... Нет, не по телефону... – она долго молчит, но Мила не мешает, понимая, что Бабушка слушает. – Конечно, можно... – наконец говорит Бабушка. – Ну, какое там сплю... Ты ведь отлично знаешь, что мой рабочий день в это время только начинается... Приходи сейчас, я жду, очень жду!

День? Мила с сомнением смотрит на окно: давно уже пришла Ночь. Правда, похожая на День, но все-таки Ночь. А когда она приходит, то в доме никогда никто не появляется. Может быть, Бабушка ошиблась? Или она, Мила? А может, кроме Ночи, прийти кто-то еще?

И правда, скоро появляется Друг. Мила встревожена нарушением обычного порядка вещей, бегаёт из кухни в комнату и обратно, вопросительно смотрит то на Бабушку, то на Друга, но им явно не до нее:

– Если не хочешь ложиться спать, – на ходу бросает ей Бабушка, – то просто сядь и сиди тихо, не мешайся тут...

Но ничто не может заставить Милу уйти в комнату и покорно забраться под их с Бабушкой одеяло. Она остается на кухне и, как ей ве-

лено, устраивается на своем собственном стуле с мягким коврикком, сидит прямо – вытянув длинную розовую шею, напряженно смотрит на обоих людей за столом. Они пьют ужасную гадость под названием «кофе» – Мила один раз тайком попробовала из бабушкиной кружки – так потом никакая вода не могла смыть мерзкую горечь! – а Друг еще и пускает вонючие серые струи дыма. Без перерыва! И Бабушка не просит его не пускать свой дым в сторону девочки! Но Мила все равно не сердится на Друга. Она откуда-то знает, что он хороший, и от него иногда приятно пахнет, и он один умеет погладить Милу по ее лысой голове так, что ей это нравится, не хочется голову отдернуть, а его – ударить, как некоторых... У него белые волосы на голове и лице, низкий успокаивающий голос... С ним Миле уютно. И Бабушке, наверное, тоже. На ней уже нет яркого халата, а есть платье – такое не красное, а немножко потемнее... Мила не очень разбирается в цветах. Они все для нее похожи, кроме белого, серого, желтого и красного... Ну, еще она немножко отличает синий – такого цвета дерево во дворе и еще небо иногда... «Смотри, какое небо сегодня синее!» – сказала когда-то Бабушка, показав вверх за окно, – и Мила поняла и запомнила. А волосы у Бабушки не пойми какие – темнее Дня и светлее Ночи; это все, что знает про них Мила, но ей очень нравится...

– Ты еще совсем молодая женщина, – грустно говорит между тем Друг. – Тебе и пятидесяти, кажется, нет... Ведь нет? Есть? Никогда бы не подумал... Ты яркая, эффектная... Талантливый переводчик... Самодостаточная... На что я тебе сдался, скажи на милость? Ты ведь через год локти себе кусать начнешь... А меня вообще возненавидишь... Ты хоть знаешь, сколько мне лет? Да я пень старый – в отцы тебе гожусь! И нищий, кстати... Вся жизнь – «кушать подано», пенсия минимальная... Сейчас вот эпизод в сериале обещали – так от счастья покраснел на кастинге как мальчишка!

«Кушать подано» – это Мила понимает очень хорошо! Так говорит Бабушка, ставя перед ней полную тарелку, когда бывает в хорошем настроении. Девочка вздрагивает, но своей тарелки нигде не видит: наверное, опять что-то не так расслышала!

— Я тебя люблю и никогда не возненавижу, — отвечает Бабушка, и голос ее дрожит. — И мне все равно, сколько тебе лет. Я хочу жить и умереть с тобой, всего хочу с тобой... Но у меня сердце разрывается каждый вечер, когда я ложусь здесь спать в безопасности и думаю, что ты там в одной квартире с чокнутым наркоманом и тебе некуда деться! Что он в любой момент может просто зарезать тебя — и даже не понять, что натворил!

— «Всего» со мной может и не получиться... — мрачно произносит Друг и делает большой глоток их ужасного кофе. — Машинка моя — того... Не очень уже и работает... А тебе еще нужно — в твоём возрасте...

Ну, положим, машинка у них с Бабушкой есть и своя, думает Мила, — обойдемся. Большая, белая, с круглым окошком, которое открывается, чтобы можно было запихнуть туда разные тряпочки. А потом тряпочки крутятся там со страшным воем и шумом, Миле немножко боязно, но она все равно стоит прямо перед окошком и упорно смотрит на мелькание тряпок, напрягшись всем телом и готовая сразу убежать, если машинка вдруг сорвется с места и поскачет по коридору. «Расшалилась наша машинка... — смеется тогда Бабушка. — Что, Мила, страшно тебе?»

Но сейчас она не смеется, а робко улыбается Другу:

— Ничего, я почию ее, машинку твою... А если и не почию — невелика беда... Главное, что кончится этот твой ежедневный кошмар... А он там пусть как хочет... Кстати, на расстоянии бороться с ним легче — найдем управу, будь спокоен! И выселить его можно через суд, и на принудительное лечение пристроить... Главное — вдвоем... Слышишь, Дима? Да ответь же ты что-нибудь, не мучь меня!

Дима поднимает голову и пристально, словно бы с последним колебанием смотрит на собеседницу — Мила улавливает то, чего не понимает Бабушка: он хочет ей что-то сказать, но боится...

— Он убьет тебя когда-нибудь, понимаешь — у-бьет!

— Убьет, говоришь? — усмехается Друг и делает это как-то так неуютно, что Мила съеживается от его голоса и взгляда. — Может, и пра-

вильно сделает. Вот послушай, чувствительная ты моя, расскажу я тебе одну историю...

Глупости, думает Мила. Друг же не комар, чтоб его можно было так легко убить — вон какой большой! Убить — это когда ты его — хлоп! — и он не шевелится больше и не живет... И Бабушка так поступает с комарами, и она, Мила... Убить легко. Но только если тот, кого ты убиваешь, — очень маленький. Чтобы убить Друга, нужен кто-то настолько большой, что и не представить... Мила начинает задремывать, голову клонит вниз, жмурятся глаза... Голос Друга гудит, как далекий шмель, — такой, как залетел однажды к ним в комнату через окно — а Бабушка поймала его в полотенце и выпустила...

Мила и слушает, и дремлет — все равно ей ничего, ничего не понять...

— Как могу я строго судить этого охламона, когда сам... Знаешь, тому уже больше полувека — а будто вчера... Мать снимала нам с сестрой дачу у залива, на южном берегу... Это сейчас там гнилое болото, а тогда ведь о дамбе и не слышал никто... И вода была как хрусталь, — представляешь, захожу в воду по горло и отчетливо вижу собственные ноги и разноцветные камушки на рябом песке... Островок там имелся — метрах так в пятистах от берега, а у хозяина — лодка за судаком ходить... Сынок его, одноклассник мой и приятель, лихо с ней управлялся, так что ходили мы, бывало, аж до самого Кронштадта. Чуть не утонули вместе однажды — ну да это уже другая история... А сейчас я тебе рассказываю совсем не о том, а об одной нашей забаве, почти безобидной... До поры до времени...

— По крайней мере, колеса вы, я думаю, не глотали... — вставляет Бабушка (Мила озадаченно приоткрывает один глаз: она прекрасно знает, что такое колеса. Это такие круглые черные штуки, что крутятся под маленьким столиком, за которым Бабушка пьет кофе, когда одна; конечно, Друг их не глотал — они бы даже в рот ему не поместились). — И не кололись...

А вот Мила укололась однажды — ужасно! Наступила на что-то на полу, и вдруг все тело пронзила острая, яркая боль! А как Бабушка тогда испугалась, даже закричала! Все обнимала, целовала жалобно стонущую Милу и приговаривала: «Ах ты, девочка, девчоночка моя

бедная! Синеглазка! Что ж ты укололась-то так сильно! Это я виновата, прости меня, глупую: уронила кнопку и не заметила!» Конечно, она теперь переживает, чтобы и с Другом ее такого не случилось...

— Лучше бы кололись, — неприятно усмехается он. — Может, подошли бы — и вреда от нас никакого...

— Что ты говоришь! — пугается Бабушка. — Мне страшно!

— А я пока ничего и не сказал. Это, Ляля, только присказка была, сказка и не начиналась еще.

Миле тоже страшно, хотя и неясно отчего. Она уже не спит — слушает, силясь поймать знакомые слова.

— Так вот, о забаве нашей невинной. Ну, почти... Ну, короче, мы познакомились на пляже с приезжими девушками — скажем так, не совсем строгого поведения — то да сё, разговорчики, шуточки... Слово за слово, приглашали покататься на лодке... Те девчонки, что были попрличнее, отказывались плыть с незнакомыми парнями в открытое море, ну а те, что соглашались, — их уж точно было не жаль... Так вот, привозили мы их на свой островок...

Бабушка вскрикивает, глаза ее округляются, но Друг досадливо машет на нее рукой:

— Да нет, нет — не делай таких больших глаз... Дураки были, конечно, но не до такой же степени! Все по обоюдному согласию... Если какая артачилась, то дальше поцелуев не заходило. Кроме того, я ведь тогда уже в артисты нацелился, красавчик был хоть куда, девки сами на меня кидались, как на сахар... А я и правда походил на конфету... На этого... Ну, сладкого мальчика из Голливуда. Как его... Склероз, короче... Дожил... Нет, забава наша в другом состояла. Когда веселье подходило к концу, мы с приятелем моим перемигивались и под каким-нибудь предлогом уходили в кусты — обычно под самым, так сказать, банальным... Ну, а там быстро прыгали в лодку — и ходу. А девчонок бросали на острове в чем были. Однажды удалось унести купальники, и девки вообще голяком там остались... Иногда они видели, как мы отплывали, выскакивали на берег, визжали, ругались... Ну, а мы в ответ хохотали, конечно, и похабные жесты им делали. Страш-

ного с ними ничего случиться не могло: кругом болтались рыбачьи лодки, и, в конце концов, какая-нибудь их подбирала... Нам это ничем не грозило: о такого рода своих похождениях девушки в те годы предпочитали помалкивать. Рады были, что выбрались, — ну, а урок мог и на пользу пойти... Странно подумать — теперь им всем уже под семьдесят... А ты тогда только родилась еще... — он замолкает и надолго задумывается.

Бабушка осторожно дотрагивается до руки Друга:

— Неприятная, конечно, твоя история, Дима... Но ведь, в конечном счете, это подростковые шалости, не больше... Не стоит так себя из-за них...

Он вскидывается и смотрит на нее в упор, так что Бабушка начинает обиженно моргать, а Мила вся дрожит, хотя взгляд и не ей предназначен: она чувствует, как Другу больно, может быть, даже больнее, чем наступить на кнопку.

— И это, Ляля, представь себе, тоже все еще присказка, — шумно вздохнув, говорит он.

Бабушка хочет что-то сказать — и молчит. Она смотрит на Друга уже с настоящим испугом — таким, что Мила потихоньку сползает с собственного стула и бесшумно перебирается на другой, тот, что стоит прямо рядом с бабушкиным. Она сразу ощущает рассеянную теплую руку у себя на плече, и ей становится поспокойнее.

— Ты даже Милу напугал, — вымученно улыбается Бабушка. — Говори уж все, раз начал...

— Между прочим, — пристально смотрит на нее Друг, — я давно уже подозреваю, что твоя Мила понимает гораздо больше, чем ты ей разрешаешь... Это я так, к слову... Да, ну вот. Привезли мы туда однажды двух девчонок — черненькую и беленькую. И, знаешь, интересные такие девахи попались, неглупые даже, с филфака обе. Поэтому провозились мы с ними дольше, чем с другими, — в качестве прелюдии разные умные разговоры пришлось разговаривать. А и без того не рано было — уж народ с пляжа расходиться стал, волна поднималась, прилив обозначился... Небо заволокло... Хоть бы один из нас мозги включил и сообразил, что лодки-то давно к берегу идут, шторма боятся. Нет, выиграло ретивое... В об-

щем, все как всегда: отпросились «в кустики», к лодке бегом — и на весла... А девчонки и не заметили, кажется: сидели себе на полянке — там полянка такая укромная была, как специально сделанная, — бутерброды, наверно, жевали. И, главное, на берегу уже друган мой смотрит на меня с сомнением, да и предлагает — мол, может, смотаемся, заберем их? Дескать, штормит сильно, лодки сегодня могут больше не выйти, тогда нашим шалавам ночевать там придется... А если еще дождь... Но я злой был — на черненькую ту. Такой казалась аппетитной, опытной, глядела многообещающе... А лежала, извиняюсь, бревно бревном... «Ничего, — говорю, — пусть попрыгают. В другой раз умнее будут». С тем и домой пошли.

— И что... — шепчет Бабушка. — Так никто и не подобрал их?..

— Нет, — хрипло отзывается Друг. — Я бы и не узнал об этом — да и интереса особого не было. Только разговор услышал — случайно, на автобусной остановке, когда мать в Ломоносов на рынок послала. Одна тетка другой рассказывала, что у соседей их большое несчастье. Приехала внучка из Ленинграда — хорошая такая девушка, Валеи звали, в университете училась — да и пошла с подружкой на пляж купаться. А там два каких-то подонка — и носит же земля! — их в лодку заманили и на остров в море отвезли. Хи-хи, ха-ха — да и бросили там одних. Шторм начался, лодки ни одной не было на воде. До берега далеко — не доплыть, да еще в грозу. Девушки в одних купальниках, плакали, звали — никого; только волны плещут и ветер воеет. Так бы, может, и ничего — ну, страху бы натерпелись или простыли в крайнем случае... Да только у Валечки диабет был ужасный — утром и вечером сама себе инсулин колола... Стало ей плохо, а к утру — кома... Пока подружка до помощи докричалась, пока подобрали их, пока довезли да нашли, откуда скорую вызывать, — день уж настал... Так в машине и скончалась, бедняжка... Теперь соседка, вся черная от горя, собирается в Ленинград на похороны внучки... Тут автобус подкатил, тетки уехали, а я как стоял на месте — так и ноги приросли... И ведь, главное, не знал я — и не узнал никогда — откуда! — которая из них была Валечка. Моя или другая... Их звали — Валечка и Алечка — это я хорошо помнил, но какую —

как... На острове недосуг было разбираться, а потом... А-а! — Друг машет рукой и замолкает надолго, обхватив свою склоненную над столом белую колючую голову.

Молчит, откинувшись на стуле, и Бабушка. Мила тревожно переводит взгляд с одного на другого, ей жутко, хочется спрятаться — почему? Убежать? А как же Бабушка? Друг внезапно смотрит на нее в упор и зычно рывкает:

— Клянусь — она понимает! Да еще, пожалуй, и получше, чем ты! — он с угрозой, как кажется Миле, оборачивается к Бабушке: — Ну что, трепетная моя? Передумала, небось, меня в сожители звать?

Бабушка ничего не отвечает, но крепко-крепко прижимает Милу к себе, словно они теперь вдвоем — против него, этого совсем не хорошего сегодня Друга...

Он встает:

— Мне пора. Считаю, что я бросил вас с Милой на острове. Ляльку и Милку. Ждите — шторма-то нет: глядишь, и подберет кто-нибудь...

Друг с грохотом отталкивает пустой Милин стул, словно живого врага, заступившего путь, и широким шагом направляется к двери. Это уже слишком! Мила с жалобным ревом бросается в комнату, ныряет в их с Бабушкой постель, прячет голову под подушку... Ничего, ничего... Сейчас Бабушка придет и ляжет рядом, и не нужен им никакой противный Друг, который так страшно гудит и грохочет...

Ночь либо давно ушла, либо в этот раз и вовсе не приходила, а Бабушка и Мила все еще лежат рядышком под одеялом, но нет ни одной из них покоя. В комнате светло, в открытой форточке — светло-синий ломтик неба. Обе бодрствуют, не могут найти себе удобного места, хотя Мила изо всех сил старается успокоить Бабушку: она то кладет ей голову на плечо, то гладит лицо, то пристраивается у теплого бока... Но Бабушка не обнимает ее, не целует, как обычно, когда Мила ласкается, а с досадой отталкивает свою девочку, раздраженно бормоча:

— Спала бы уже. Надоела до́ смерти, — и добавляет сокрушенно: — Надо же, какой козел. Нет, ну какой козел, а? — она еще немножко ворочается, но вдруг садится и громко, удивленно произносит: — Мила, мне нечем дышать... Сов-

сем нечем! Мила!

Обеими руками, царапая себе шею, Бабушка оттягивает ворот ночной рубашки, громко, бурно тянет в себя воздух и сипло кричит:

– Мила! Задыхаюсь! Что это?! Мила!! А-а!!!

Словно чья-то невидимая огромная рука вырывает ее из постели и бросает к окну. Часто и жутко дыша, Бабушка силится открыть его, но заедает шпингалет – и она начинает сипло выть, дико глядя перед собой и судорожно тряся гремящую раму, – а Мила уже рядом с ней, пытается заглянуть в ее мутные от смертного страха, словно подернутые сизой пленкой глаза, и тоже в запредельном ужасе повторяет:

– Что с тобой?! Что с тобой?! Что с тобой?! – на самом-то деле у нее выходит: «А-ой!! А-ой!!! А-ой!!!»

Но вот окно распахнуто, со двора, уже вполне светлого, врывается тугая волна прохлады, но Бабушке не легче. Она теперь держится за грудь:

– Да это сердце... Это сердце, Мила... – замирающим шепотом свистит она и вдруг вся тяжелеет, цепляется за подоконник.

Мила не впервые слышит это слово – Бабушка часто говорила раньше, обнимая ее: «Ух, и колотится же у тебя сердце, Мила! И как только не выскочит!» – и прижимала теплую ладонь туда, где внутри у Милы трепыхалось что-то маленькое и неустанное, которое всегда играет и бежит в ней, даже когда Мила спит... Еще это сердце как-то дает о себе знать, если Мила чему-то очень радуется – там так сладко-сладко ноет, как будто ешь сгущенку, и так пусто становится, когда обидно... или страшно... Да, Мила очень хорошо понимает, что такое сердце. Она и Бабушкино сердце не раз слышала, когда прижималась к ней: оно стучало ровно, гулко, надежно... Должно быть, оно такое крупное, горячее... Мила почему-то видит его красным... Но что оно сейчас делает в Бабушке – это большое сердце? А вдруг оно выскочит и убежит? Что тогда будет? Мила сразу решает, что если сердце сейчас выскочит из Бабушки, то она его поймает. Это просто: хватить – как бабочку. Но не съест его, а сразу вернет, потому что у нее уже есть внутри одно. Должно быть, она когда-то давно его проглотила...

Но Бабушкиного сердца нигде не видно, а сама она всем телом лежит на подоконнике, и

Мила замечает вдруг, что и лицо ее, и губы, и даже глаза – все это точно такое же белое, как и рубашка. Она отталкивается руками от рамы, еле слышно стонет:

– Нет уж, дудки, Мила... Я не умру – так... Одна... Слишком глупо... Не хочу... Не позволю...

Она делает шаг к кровати, шатается, прислоняется к шкафу... Ее надрывное дыхание заполняет всю комнату – Мила бросается на помощь.

– Не путайся под... ногами... дай... дойти... – хрипит Бабушка и делает еще рывок, упирается локтями в спинку кресла.

Там она судорожно переводит дыхание, тянется к тумбочке... Телефон! Она хватается телефон, и ее мотает с ним к двери. Бабушка ушибается о косяк, но он же и служит ей опорой... Черная коробочка у ее уха...

– Дима... – голос Бабушки не похож на ее собственный, и вообще на человеческий. – Вызывай скорую... Мне... Сердце... Сейчас попробую... открыть... Если... не смогу – ломай... – коробочка летит на пол, Мила кидается к ней, оттуда горит белый свет и еще слышны какие-то звуки.

– А-я-а! – громко зовет Мила. – У-и-и! У-и-и!

А Бабушка уже в прихожей, она всем телом прислонилась к входной двери, что-то гремит – и дверь вдруг подается наружу. Бабушка сползает по ней, опускается на колени, руки ее уже там – в той Другой Жизни, куда Миле ходу нет. Там иной цвет и чужой запах, там опасно, оттуда приходят незнакомые люди, к этой двери Миле и подходить запрещено! Но Бабушка стоит на коленях, упиравшись ладонями в пол, как раз поперек заветного рубежа, голова ее опускается все ниже, ниже, вместо дыхания вырываются слабые всхлипы... Но Мила не убегает. Подвывая от страха, она стоит рядом с Бабушкой и ждет сама не зная чего...

Но вот поблизости раздаются быстрые шаги и знакомый голос. Это Друг, понимает Мила и отступает в квартиру. Он знает, что делать, сейчас опять все окажется, как прежде... Давай же, Бабушка, вставай, вставай! Но, увидев Друга, Бабушка не поднимается, а, наоборот, падает вниз лицом...

– Ляля-а!!! – басом зовет Друг. – Лялечка, ты чего это?!!

В их маленькой квартирке происходит такое, чего раньше никогда не бывало... Вдруг появляются совсем незнакомые мужчины в синей, как дерево во дворе, одежде, они что-то делают с лежащей на диване Бабушкой, витают страшное, корявое слово «инфаркт», звенит стекло и железо, отвратительные запахи заполняют комнату... Но не это пугает Милу, забившуюся в кресло и всеми позабытую. Ее пугает Тьма... Она не видит ее, но чувствует, как она нависает над Бабушкой, растопыривается уродливым облаком над их безопасным диваном и набухает, набухает чернотой...

— Она выживет? Она выживет? — беспрестанно спрашивает Друг у всех мужчин по очереди.

А они рассеянно отвечают:

— Вроде должна...

И снова звякает железо и стекло, что-то падает на пол, и вдруг раздается Бабушкин короткий мучительный вдох.

— Лялечка, я здесь! — кидается к ней Друг, расталкивая мужчин, но они отстраняют его и мрачно спрашивают Бабушку:

— В больничку поедете?

— Поедет! — поспешно отвечает за нее Друг.

— Еще как поедет! А носилки у вас есть?

В комнате оказывается странная узкая кровать на высоких блестящих ногах с колесами, мужчины вместе поднимают Бабушку и кладут сверху. Мила мельком видит ее неузнаваемое маленькое лицо, повернутое к Другу:

— Мила... Ты — Милу... Нужен уход... Кормить... Там, в холодильнике... Ей нельзя одной... Ключи... — шелестит она.

Он машет на Бабушку обеими руками, будто ловит белых бабочек:

— Да разберусь я! Ничего с твоей Милой не сделается! Ты только, ради Бога, не волнуйся! Тебе нельзя волноваться!

И все. Одна Мила. Нет Бабушки. И никого нет. Только День. Но он никогда ничего не говорит.

Друг возвращается нескоро, только когда снова пришла и исчезла короткая, совсем светлая Ночь. Ждала-то Мила, конечно, Бабушку. Она не могла представить себе ее лицо, но в целом образ в голове получался ясный: что-то большое, доброе и родное... Мила по-

ложила голову на Бабушкину подушку и так пролежала долго-долго...

Но вот дверь в прихожей кто-то открывает, слышится звяканье ключей... Мила не кидается, как всегда, навстречу, а, наоборот, прячется поглубже под одеяло, потому что знает, что это не Бабушка. Точно так же, как раньше, когда бабушка шла домой, Мила узнавала об этом задолго до того, как та подходила к двери. Так, ниоткуда. И было ей радостно.

— Мила! — слышен знакомый голос-шмель. — Где ты прячешься?

Ах, вот кто это! Мила выбирается из постели и резво соскакивает с дивана навстречу Другу. Она надеется, что он ее покормит, — и действительно, Дима сразу направляется к холодильнику.

— Вот такие дела у нас с тобой печальные, милая Мила... — говорит он, разрезая ей курочку на куски. — Инфаркт хватил нашу Лялю...

Она поднимает вопросительный взгляд. Лялю? Ах да, этот глупый Друг почему-то так называет Бабушку. Значит, все-таки Инфаркт схватил ее? И унес? И не отпустит? И что делать?! А если взять его и — пор-рвать?!

— Рр-ра? — спрашивает Мила.

— Рад? — усмехается Друг. — Да уж, конечно, теперь даже ты вправе обо мне так думать... И, главное, еще сказал, урод, что бросаю вас на острове... Но, Мила, — я пошутил! Неудачно, разумеется... Почти как тогда... Но хоть ты меня мерзавцем не считай, ладно? Я вот что думаю: ты, хотя и молчишь, но нас как облупленных знаешь... И о каждом имеешь свое особое мнение... На вот, кушай, наголодалась, поди...

Мила опасно ест, все время прерываясь и оценивающе посматривая на Друга... Какой он необычный... Вот Бабушка никогда так длинно с ней не говорила... Он тоже откровенно изучает Милу:

— Все-таки страшна ты, конечно, как смертный грех, — прости уж меня, старика... Но глаза... Любого за душу возьмут... Надо же, какая синь... Просто сапфиры... А сколько ума в них! И чувства! Только за них по гроб жизни влюбиться можно... Так что понимаю я Ляльку, ох, понимаю... Я вот что, Мила... Я обещал Ляле, что здесь с тобой поживу, пока она не вернется... Могу я надеяться, что ты меня во сне не

прикончишь? Могу, наверное: Лялька говорит, ты не буйная... Да и мне от моего Юрки-наркوشي отдохнуть не мешает, а там... Вот отпустят ее из больницы... Звала ведь она меня жить здесь с вами – а я ей... А я ей – инфаркт... Вот такое я дерьмо... Вот такое я дерьмо, милая Мила...

Это слово тоже давно в Миленном словаре. «Я не нанималась за тобой дерьмо выгребать!» – кричит Бабушка, когда Миле случается покакать мимо туалета. Она озадаченно смотрит на Друга: какое же он дерьмо? Он человек. И она его почти любит.

– Что, удивляешься моей велеречивости? – спрашивает Дима и гладит Милу большой прохладной ладонью по голове, задевая ее мягкие уши. – Привыкай: я артист – люблю монологи. Хотя... Не так уж и часто за мою карьеру приходилось мне их разучивать. «Что будете заказывать?.. Икорки к водочке не желаете?.. Приятного отдыха... Вашу даму просят к телефону... Прикажете такси вызвать?» – вот тебе, милая Мила, и вся моя нынешняя роль... Так что монологи теперь ты будешь слушать... Раз уж великий мой талант Родине не пригодился...

Мила совсем не против. Ей даже нравится этот гулкий рокот, а пуще нравится сам Друг. Она чувствует в нем такое же вечное смятение, какое постоянно ощущает в себе, – среди непонятных явлений, шумов, фраз... Она не такая, как окружающие, и он не такой. В ней – тайна, и в нем тоже... И Бабушка... Которая их одинаково любит и не понимает – тоже одинаково. И которая одинаково им необходима...

Приходящая Ночь постепенно становится похожей на саму себя. Во всяком случае, она все темней и ощутимей. Друг часто появляется позже нее, но, когда кругом День, он почти всегда с Милой. Гудит и рокошет – она привыкла. Иногда они даже едят из одной тарелки. Так даже вкуснее. Спят они тоже вместе, как с Бабушкой, только во сне Друг иногда начинает громко рычать – и тогда Мила бесшумно перепрыгивает через него, забивается в кресло и испуганно смотрит оттуда, пока рычание не прекращается. Тогда Мила снова прокрадывается в постель и притуляется за спиной Друга. Она спит и ждет. Даже во сне.

Однажды, когда День давно уже пришел, а Друга все нет и нет, Мила просыпается от странного чувства. Сначала она никак не может вспомнить, что это такое, но внезапно понимает: «Бабушка! Это Бабушка! Она близко!» Милу будто сдувает с постели, она бросается в прихожую, взад-вперед мечется у двери. Ну, скорей! Скорей! Неужели она ошибается?!

Нет, Мила может ошибиться в чем угодно – только не в этом. За дверью раздаются голоса, звенят ключи...

– Ва-у-фа!!! – визжит Мила и с размаху бросается Бабушке на грудь. – Ва-у-фа!!!

– «Бабушка»? Ты сказала – «бабушка»?! – смеется и плачет та. – Дима, ты что, тут без меня научил ее говорить?! Ах, деточка, деточка моя...

Они целуются и обнимаются на пороге, а Друг с двумя большими сумками в руках смущенно стоит в сторонке и внимательно на них смотрит... Бабушка наконец отстраняет Милу и рассеянно взглядывает на него:

– Туда, в комнату, поставь, я потом разберу... Ну, спасибо тебе... – голос чуть срывается, но это заметно только Миле. – За Милу... За все.

Она медленно кивает – и высоко вздергивает подбородок.

– Мне уходить? – говорит Друг.

– Да-да, иди, конечно, – не смотря в его сторону, отвечает Бабушка.

Но Друг почему-то не уходит сразу, а с виноватым видом топчется на коврике у двери. Миле его вообще-то жалко, но сейчас ей не до него, когда Бабушка вернулась.

– Так я пошел? – зачем-то переспрашивает он, как будто и так не понятно.

Но бабушка не оборачивается.

Их жизнь продолжается как раньше. Нет, наверное, не совсем так, потому что Бабушка теперь не такая, как прежде. Она редко шутит с Милой и сама никогда не бывает веселой. Она теперь не стрекочет бойко, сидя у своего компьютера и гоня маленькие черные штучки по белому, а долго-долго сидит без движения, уставясь в его большое светящееся окно и обхватив голову руками. Когда Мила робко подходит и утыкается носом в Бабушкино плечо, она рассеянно кладет ей на спину ладонь и вздыхает.

Иногда Бабушка стоит за белой занавеской на кухне — тоже подолгу, только обязательно выключив перед этим свет. Мила знает: в узкую щелку она смотрит туда, на маленькое яркое окошко Друга. «Может быть, он все-таки там?» — думает Мила. Но застрял — такой большой в таком крошечном — и теперь не может выбраться, чтобы прийти к ним? Вот застряла же она недавно за диваном и не смогла выйти... Звала, пока Бабушка не пришла на помощь. А то так и стала бы там совсем неживая...

— Дура старая... — шепчет Бабушка, глядя на единственное светлое пятнышко во дворе. — Раскатала губу... Уж и до богадельни недалеко, а туда же...

Она возвращается к компьютеру и какое-то время, сжав губы и став такой строгой с виду, что Мила боится к ней приблизиться, упрямо и яростно щелкает, щелкает, щелкает... Но вдруг щелканье прекращается, и Бабушка с протяжным стоном роняет голову на стол. Мила в ужасе: Бабушкино сердце снова хочет убежать?! А Бабушка поднимает голову, и Мила поражена: все ее лицо мокрое! Где она взяла воду?

— Поделом мне, поделом! Вся жизнь моя никчемная! — громко говорит Бабушка; взгляд ее падает на Милу: — Вот послушай, послушай! — она смотрит на горящее окно компьютера и протяжно произносит: «Глаза-а Сью-узан зажглись, как две-е голубые звезды-ы. Вильям прибли-изился к ней и заключил ее в пла-аменные объ-атья. Бурная стра-асть подхвати-ила их на свое крыло-о — и они начали безу-умный танец любви-и...» Здорово, да?! — она вроде бы и смеется, но так, что Миле становится страшно при виде такой неправильной Бабушки; она понимает, что смех — это другое, а тут... тут боль? Или даже что-то больше, чем боль?

— Почти тридцать лет занимаюсь этой чухой! — кричит-хохочет Бабушка. — С тех пор, как иняз окончила! И, представь, мне все завидуют! «Везет же тебе — так удачно вписалась в рынок! И на работу таскаться не надо! Такую нишу захватила, счастливица!» А жизнь-то — псу под хвост! Шелудивому псу! Всё любовнички, любовнички... Один раз могла ребенка родить — не стала, сдрейфила! «Эх ты, — врачиха сказала, — ведь у тебя девочка была...» Сейчас она уже взрослой стала бы... Уж и внуков бы, наверно,

мне родила... Приходила бы, навещала старуху... Говорила бы: мама!

— Мм-аа... — силится повторить Мила.

— Вот-вот! — зло смеется Бабушка. — Дожила до девочки, нечего сказать!

Теперь Мила видит, что вода льется прямо у Бабушки из глаз... Что это? Разве так бывает? Вода на кухне, в кране... И в ванной... Откуда она в глазах?

Люди приходят к ним все реже и реже. Часто бывает только одна посторонняя бабушка — та, что самая маленькая из всех, знакомых Миле. Они с Бабушкой сидят в комнате за низким столиком, пьют, к счастью, не кофе, а что-то светлое, в высоких прозрачных стаканах на длинных ножках.

— Слушай, а тебе после инфаркта не трудно с ней? — показывает она на Милу. — Ну, за ней ведь уход какой-то там нужен, готовка... А ты вон еле двигаешься, да еще переводы на тебя навалились... И вообще... Может, действительно, отдать ее пока?

— Что ты! — пугается Бабушка. — Она мне сейчас больше нужна, чем даже я ей! Без нее я бы уже, наверное, подохла тут, а она меня только и держит... И какой такой особый уход? Она у меня чисто плотная, сама за собой ухаживает... А готовка... Да мы с ней почти одно и то же едим...

Мила тем временем подозрительно оглядывает Бабушку со всех сторон: где они, эти Переводы, что на нее навалились? Так обычно делает только сама Мила — во сне. «А ну, отодвинься, — отталкивает ее иногда Бабушка. — Ишь, навалилась на меня!» Никого на Бабушке не видно, и она успокаивается, но вдруг вздрагивает, услышав:

— А что этот Дима, твой друг так называемый? Взял и бросил тебя в таком состоянии? Так и «покинул на острове»? Хорош, нечего сказать...

— Не хочу о нем говорить, — Бабушка вяло отставляет стакан. — Не состыковалось. Всё. Проехали.

— Конечно, кому охота оказаться с такой уродицей под одной крышей... — бормочет себе под нос маленькая бабушка, неприятно косясь на Милу, когда настоящая Бабушка уходит на кухню за сыром. — Разве только глаза...

Миле тоже дают пахучий кусок вкусного сыра, и она ревниво уходит с ним к окну, взбирается на подоконник и смотрит во двор.

Уныло машет ей многорукое синее дерево под синим же небом среди желтых стен, кто-то выходит из противоположной стены и идет через двор. Мила подскакивает: это Друг! Отчетливо видна его белая, даже на вид шершавая голова. Мила часто замечает его в последнее время — и каждый раз, проходя мимо нее, он с улыбкой кивает ей. Приостанавливается, грустно смотрит в сторону их квартирки и вздыхает, а потом быстро-быстро исчезает с Милиных глаз. Иногда он, должно быть, что-то произносит. Мила не слышит, но догадывается, что он зовет ее по имени. «Р-ру! — отвечает она всякий раз, утыкаясь носом в стекло. — Рр-уу!»

— Клянусь, Лялька, она говорит «друг»! — смеется маленькая бабушка. — Может, он сейчас у тебя под окном стоит и плачет. Ромео хренов...

— Перестань, — морщится Настоящая. — Не смешно.

В этот раз у Димы в руках большая корзина — точно такая же стоит у Бабушки высоко под потолком в странной норе под названием «антресоли». Она однажды свалилась оттуда и чуть не зашибла Милу — та едва успела отпрыгнуть, а Бабушка подняла упавшую штуку и отругала: «Надо же, какая мерзкая корзина — едва не угробила мне Милу!» Мила не понимает, для чего корзина нужна Другу — такая большая и некрасивая... Она и Бабушке-то ни на что не нужна, просто живет зачем-то на антресолях, и Бабушка ее не гонит, потому что добрая...

Маленькая бабушка прощается, когда Друг со своей корзиной уже прошел через двор обратно и опять на ходу улыбнулся Миле. В корзине у него что-то лежало, прикрытое синими листочками... Непонятно... А тем временем Милина Бабушка ложится спать. Раньше она никогда не спала, пока не появится Ночь, а сейчас... Другая, совсем другая стала ее Бабушка. Миле спать не хочется: за окном так ярко, тепло, интересно... Хотя чувствуется, что День уже собирается уходить... А что, если... Она внимательно смотрит на Бабушку: та дышит сильно и ровно, лицо ее спокойное и белое... Тогда Мила на цыпочках, очень тихо, но реши-

тельно идет на кухню. Дело вот в чем: Бабушка забыла закрыть там окно. И решетку тоже не задвинула: лила зачем-то воду из чайника на свои цветы в узком деревянном ящике, а потом позвонил в комнате телефон, она оставила все как есть и больше в кухню не вернулась. Значит, можно вылезти во двор и успеть добежать до дерева — давно уже хотелось посмотреть на него поближе и потрогать, если позволит. А то они только машут друг другу, машут — и никакого толку. И вообще — посмотреть, что там есть интересного... Вот, например, голуби... «Гуль, гуль, гуль!» — зовет их иногда бабушка и сыплет за окно крошки. Голубей сразу становится много-много, они давят друг друга во дворе на полу и булькают, как вода в раковине... А Мила неизвестно отчего начинает волноваться, и во рту становится мокро-мокро... Однажды она уже сбежала из дома, но Бабушка не спала и поймала ее. Вот когда Мила узнала, что такое «получить по попе»! Такой сердитой она Бабушку не видела ни до, ни после, а уж как больно было! Но сейчас Бабушка спит, значит, ничего не узнает, а Мила успеет вернуться до того, как она проснется...

Мила — храбрая девочка. Бабушка часто ей это говорит. Храбрые девочки не боятся. Но Миле все-таки не очень уютно. Во дворе странно пахнет: не то приятно, не то противно — ей так сразу не разобраться... Спрыгнуть вниз не проблема, окно совсем не высоко над полом. Надо же, какой жесткий здесь пол, совсем не такой, как в их квартире... Она опасливо идет прямо к дереву, залезает на скамейку... Подходит и осторожно прикасается к нему подушечками пальчиков, хочет погладить... Но оно холодное и твердое, неприятное на ощупь. «Неживое!» — понимает Мила. Надо же, а так приветливо махало руками... Слегка разочарованная, она хочет идти дальше, но тут из той желтой стены, в которой обычно исчезает Друг, выходит высокий парень с лохматой головой. Мила не раз уже видела его во дворе — это Ублюдок. Когда Друг еще ходил к ним с Бабушкой, он не раз показывал в окно на парня, быстро идущего через двор, чтобы пропасть все в той же стене: «Опять, кажется, ширнулся, ублюдок», — говорил Друг и отворачивался от окна. Мила ясно видела на его лице такое же вы-

ражение, какое было у Бабушки, когда она вытаскивала неживую бабочку у Милы изо рта...

Мила на всякий случай прячется за дерево, потому что ей и близко не надо рассматривать Ублюдка, чтобы понять: он злой. И опасный. Он может сделать так, что она станет неживая — как это дерево. Или та бабочка. Или как она сама делает неживыми комаров. Он садится на скамью и достает откуда-то такую же черную коробочку, как у Бабушки, — телефон. Держит его у щеки и говорит: «Ну, где ты? Далеко еще? Он уже чистит свои грибы! Ладно, быстрее давай копытами шевели...» Мила подглядывает из-за дерева и дрожит. Ей хочется убежать, быстро залезть в свое окно и смотреть уже отсюда, из недосыгаемого места, — но страшно показаться Ублюдку: вдруг он успеет схватить ее? А Ублюдок тоже дрожит: дрожит его большая нога, закинута на другую, дрожат руки на спинке скамьи, дрожат большие синие губы... Неужели ему холодно? Кругом ведь так тепло — даже для Милы, которая обычно мерзнет! Но во дворе откуда-то появляется незнакомая женщина — не из бабушек, молодая. Такая, как Ублюдок. Озираясь, словно ожидая, что кто-то на нее набросится, она быстро идет к скамье — и Ублюдок вскакивает ей навстречу.

— Принесла? — отрывисто спрашивает он. — Дай сюда!

Мила хорошо знает это слово («А что я тебе принесла, девочка моя! Смотри, какая вкусняшка!»), оно всегда означает что-то очень-очень вкусное в руке у Бабушки. Неудивительно, что Ублюдок с таким нетерпением кидается к женщине. Миле хочется увидеть, чем она его сейчас угостит, — она почти вся высовывается из-за дерева. Женщина отшатывается и вскрикивает:

— Это еще что за каракатица?!

Ублюдок нетерпеливо отмахивается:

— Не обращай внимания. Она ничего не делает. Безобидная и тупая как пробка. Только выть умеет гнусным голосом — и все. Именно из той квартиры, куда мой лох полгода пробегал. Я уж надеялся, что та баба его к себе забрет. Как бы не так — отшила по полной... Сидит он теперь на кухне, курит и страдает... Юный Вертер, блин... Смотреть противно. Ну, показывай!

Женщина протягивает Ублюдку что-то маленькое и белое. Приглядевшись, Мила с удивлением понимает, что это гриб. Похожий на те, что приносит иногда домой бабушка в прозрачных коробках, готовит на сковородке и ест горячими. Мила один раз попробовала («Это гриб, Мила, но тебе, наверное, не понравится», — и точно, не понравился). Вкуса никакого. И запах отвратительный.

— Чуть не чокнулась, пока по лесу моталась. Думала, не найду уж — редкость все же большая в наших широтах, — рассказывает женщина. — Плюнула было, домой собралась не солоно хлебавши и тут смотрю — растет себе... Как на картинке в справочнике грибника: аманита фаллоидес.

— Чего? — удивляется Ублюдок; Миле тоже непонятно.

— Бледная поганка. Как и обещала. Одним грибом целую свадьбу угрохать можно, а не то что одного старпёра, — гордо говорит его знакомая.

— На вкус точно не горькая? — деловито спрашивает Ублюдок.

— Точно. У нее вообще нет ни вкуса, ни запаха. И, когда ее съедаешь, поначалу кажется, что у тебя только легкое несварение желудка, поэтому к врачу никто не обращается. А зря. Потому что второй — и последний — раунд начинается через несколько дней, когда спасти человека уже нельзя. Почки, печень — все разом накрывается. Белая Смерть — в чистом виде. Покруче Гёрыча¹⁰! А если сам собирал и сам готовил... Какое тут убийство... Любой ошибиться может. Никто не застрахован. Кушайте, дедушка Дима, лучший наш друг... И хватит, наконец, вонять на нашей площади...

Мила вздрагивает: Дима, Друг... Так это ему, выходит, принесли гриб, чтобы угостить? Эта женщина так любит его, что носит вкусняшки? Мила бесшумно крадется вдоль скамейки, чтобы получше рассмотреть гриб: вдруг действительно вкусный и ей перепадет от него кусочек? Хоть самый маленький!

И тут она словно натывается на стену. Она не видит ничего нового, но ее будто прошивает насквозь противная тягучая дрожь. Тьма — вот что это. Бесформенная, безжалостная, она невидимо зависла над этими двумя, что шепчутся

на скамейке, не чувствуя ее. Точно такая же, как висела тогда над Бабушкой, когда сердце ее почти выскочило... А выходит она из маленького белого гриба, с которым они что-то делают... Тьма растет, растет, накрывает их, вот-вот дотянется до нее, Милы... Проглотит всех — и ее, и Ублюдка с его женщиной, и Друга, и Бабушку... Но они совсем ничего не замечают:

— Я не хотел до такого доводить, вот этой дозой клянусь! — шепчет Ублюдок, быстро показывая женщине что-то маленькое и блестящее.

— Тогда точно верю, — легонько усмехается та, внимательно глядя на него.

— Но сколько ж можно! — горячится Ублюдок. — Поселился в чужой квартире и живет, живет... И в ус не дует! А ведь он мне посторонний! Бабка когда-то вышла за него и сдуру прописала — свою квартиру он, видите ли, первой жене оставил из благородства... А я здесь с младенчества прописан, между прочим! Потом бабка возьми да помри в одну минуту — а он нет чтобы убраться! Если б благородный был — так бы и сделал! Впаривает мне: куда, мол, я пойду — в подвал? А мне-то какое дело! За тридцатник перевалило, а все у родаков тусоваться должен?! Вот и мечусь меж двух квартир как придурочный. Ни тебе ширнуться нормально, ни кирнуть, ни с шоблой посидеть по-человечески... Ни с бабой поселиться... Надоело! Надоело! Надоело! — взвизгивает он тонким противным голосом, а по лицу у него бежит вода, как недавно у Бабушки.

Женщина хватается Ублюдка за локти, мгновенно сует ему что-то в рот:

— На, проглоти. Иначе руки трястись будут. И давай отправляйся уже — чуешь, как грибами с луком из окна тянет? Значит, тушит их всюю... Только тихо смотри, не буянь там хоть сегодня. На кухню к нему спокойно зайди — вроде воды попить. Он тебя терпеть не может и сразу убежится... А ты очень быстро поднимаешь крышку и бросаешь в сковороду кусочки поганки. И главное — не забудь, понял? — руки сразу вымой средством для посуды! Чтоб скрипели, ясно? Не то оближешь их, сдохнешь — и никакого тебе больше ширялова. И кира тоже. Дотумкал, горе мое? Повтори!

— Что я — конченный?! Простых вещей не секу?! — истерично возмущается Ублюдок. — Лапы убери от меня, невеста!

— Да, невеста! — с нажимом говорит она. — Обещал расписаться — значит, распишешься. Долг платежом красен. Откуда ты знаешь, может, я тоже хочу в замужних дамах походить, как твоя бабка на старости лет... Шучу. Лети давай, сокол.

Они расходятся в разные стороны — женщина бросается в какую-то щель между высокими стенами — и нет ее; Ублюдок исчезает там же, где раньше пропал и Друг. Тьма еще немножко висит над скамейкой, словно раздумывает, а потом незаметно тянется вослед...

Мила одна во дворе. И сердце ее, кажется, сейчас выскочит и убежит — как собиралось и не сделало Бабушкино... Бабушка! Вдруг она уже проснулась и увидела, что Милы нет?! Тогда уж «по попе» не избежать — проверено... Мила оборачивается на свое настезь распахнутое окно — странно! Окно теперь, кажется, сильно уменьшилось — как она пролезет в него, когда будет возвращаться? А окно Друга, наоборот, выросло — может, заглянуть туда? Оно тоже открыто, а решетки и вовсе нет... Мила вертит головой туда-сюда, не зная, на что подвигнуться... Вдруг она опять замирает и вся холодеет: снова эта Тьма! Ее, как обычно, не видно, но Мила знает: она там, за окном Друга! И стала еще плотнее и гуще, чем когда висела во дворе. Тьма пришла за Другом, отчетливо понимает Мила в какой-то момент. Пришла и заберет — вместо Бабушки, ведь ее-то забрать не удалось! Тьме помешать нельзя — она такая. Она обхватит Друга черными лапами и вытащит из него что-то важное, без чего он станет неживой. Как комары. Как дерево. Как бабочка. Как вон тот голубь, что валяется под ближней стеной... И Друг больше не станет ходить через двор со своей большой белой головой и улыбаться Миле... Мила такая маленькая, глупая и некрасивая — что она может против Тьмы? Надо бежать домой, прижаться к Бабушке — и все снова станет хорошо... Но Мила решительно поворачивает к окну Друга. Вот оно какое, оказывается, громадное! Теперь понятно, как Друг туда помещается. И забраться легче легкого. Только Мила хочет подпрыгнуть, чтобы уцепиться за подоконник, как рядом что-то грохочет, и она в ужасе прижимается к стене. Это опять Ублюдок. Ах, вот откуда он взялся! В стене, оказыва-

ется, тоже есть дверь! Но напрасно Мила так пугается — Ублюдок даже не смотрит в ее сторону. Обдав ее химическим смрадом, он наискось мчится через двор и пропадает. Отлично, путь открыт! Прыжок — зацепиться — подтянуться... Еще легче, чем казалось, — и вот Мила уже на подоконнике, осторожно заглядывает внутрь. С первого взгляда ей ясно: это кухня. Почти такая же, как у Бабушки. Этот большой белый ящик — холодильник. А вот и кран с водой. Мила осторожно ступает на стол — и чуть не падает с него: Тьма прямо здесь, рядом! Ее не видно, но она — живая! Она тоже сейчас смотрит на Милу и решает: схватить ее или нет? На миг девочку парализует от ужаса, но сейчас же она вспоминает: Тьма пришла не за ней. Пока не за ней... Злое темное облако висит над большой серой коробкой, что стоит на полу и называется «плита». На плите, такой же, как у Бабушки, горит маленький синий огонь, а на нем тихо булькают в глубокой сковороде грибы. Это и проверять не нужно — невкусный запах, хорошо знакомый Миле, заполняет всю кухню... Тьма торжествует. Она как-то связана с этим запахом, чувствует Мила.

Надо ее убить. Как убила бабочку. И могла бы убить голубя. Правда, Тьма гораздо больше — ну и пусть...

Мила больше не думает — она с размаху бросается на сковороду, та с грохотом летит на пол, Мила — на нее. Она поскользывается в склизких кипящих грибах, падает боком в эту зловонную дымящуюся кашу — и тут оскорбленная Тьма нападает сверху. Бежать некуда — дверь закрыта! Мила катается по полу, воеет и визжит от нестерпимой боли, о которой даже не знала, что такая бывает — красная, невероятная! — случайно опирается о перевернутую сковороду — и этого уже нельзя вынести... Она слабо хрипит последний раз, успевает услышать голос Друга — «Мила, ты?! Господи!!!» — и Тьма накрывает ее разом...

У Бабушки в комнате светло от длинной рога-той люстры, висящей над круглым столом. У Милы еще саднит все тело, больно пошевеливаться — но эту боль уже вполне можно терпеть. Бока, грудь, плечи, ладошки — все туго обмотано какими-то узкими белыми тряпочка-

ми, из-под которых струится странный дурманящий запах, и все время хочется содрать их и отбросить в сторону. Но охота сразу пропадает, как только Мила натывается на строгий Бабушкин взгляд. Впрочем, строгий он только когда хочется сорвать тряпки, а так — Бабушка только и делает, что улыбается, хвалит Милу и говорит ей ласковые слова:

— Милая! Умница ты моя! Героиня!

— Красавица наша синеглазая! — подхватывает Друг. — Сколько в тебе грации! Хм... Просто нужно суметь увидеть...

Он сидит за столом, и Бабушка наливает ему в чашку отвратительной кофе. Ну и пусть. Мила все равно любит их обоих. Она вытягивает шею, осторожно кладет голову на стол, прислушивается и всматривается, иногда щурясь от удовольствия просто видеть их и слышать их голоса.

— Ну, продолжай, продолжай, — тербит Бабушку Друг. — Все-таки дал, значит, наказания... И что — вот прямо так и признался? Сам?

— А куда бы он делся, — поводит плечом Бабушка, садится рядом с Другом и берет себе другую чашку. — Сутки без дозы. Тут и... этот... допрос с пристрастием... не нужен.

— И как ты только догадалась отправить на анализ те грибы с полу! Я бы просто выбросил их — и дело с концом, — восхищенно смотрит на нее Друг.

— Ага... И эти сволочи отравили бы тебя в другой раз... — мрачнеет Бабушка. — Видишь ли, я знаю, что Мила моя не хулиганка. Она не могла просто так взять и нашкодить — не тот характер. Пусть она не говорит, но мне иногда кажется, что разбирается в этой жизни лучше, чем я... И раз она ни за что не хотела, чтобы ты ел те грибы... Ты же сам говорил: она вопила от боли и каталась в них, но не убежала, когда ты открыл дверь! Значит, она знала, что там — опасность, и хотела показать тебе это. А может, видела, как твой Юрка сунул что-то плохое в сковороду... Не допросишь же ее в полиции... А жаль, право... Ну, а потом, когда я позвонила Катьке...

— Я так и не понял, Катька — это которая? Дылда такая, от которой духами французскими разит? — спрашивает Друг.

— Да нет, Дима, — морщится Бабушка. — Которая дылда — та физик-ядерщик. Мы все тут с

одного двора и школу вместе окончили... А Катя, наоборот, самая маленькая. Ну, помнишь, мы еще ее весной в Мариинке встретили?

— Это та вот... Дюймовочка в шляпке... Вся в колечках каких-то, бусиках... Пол-ков-ник по-ли-ции? — весь подается вперед Дима. — Ты чего — шутишь, да?

— Нисколечко! — выпрямляется Бабушка. — Больше четверти века оперативной работы. Только последние годы на руководящую должность перевели — тоскует... Раскрытым убийствам счет потеряла. А тут... и раскрывать нечего... Экспертиза сразу показала: яд бледной поганки. В том лесопарке, где ты шампиньоны свои собираешь, она отродясь не водилась. Значит, подложили... И шансов у тебя не было. Так что, если б не Мила...

Бабушка и Дима дружно поворачивают головы в ее сторону.

— Я опять забыл, — виновато говорит Друг. — Как эта порода называется?

— «Сфинкс петерболд». Если по-русски — «Петербургский лысый сфинкс», — улыбается Бабушка и нежно смотрит на Милу; та благодарно шевелит кончиком своего длинного хвоста и настраивает огромные уши-локаторы так, чтобы лучше слышать любимый голос. — «На лицо ужасные, добрые внутри»... Разновидность сиамских — а ведь это еще и самые умные кошки в мире!

Друг берет руку Бабушки и подносит к своим губам. А Бабушка склоняется над его колючей белой головой и отважно ее целует.

Примечания

¹ Дворцовая площадь.

² Благовещенский мост.

³ Площадь Александра Невского.

⁴ Невский проспект.

⁵ 1936—1939 гг.

⁶ Город в Тверской области.

⁷ Советско-финляндская война 1939—1940 гг.

⁸ Презрительное прозвище тех, кто часто менял место работы.

⁹ То есть она имела звание младшего сержанта Красной армии.

¹⁰ Герыч — героин (*жарг.*)

□

Наталья Александровна САФРОНОВА

(псевдоним *Наталья Веселова*)

родилась в Ленинграде.

Окончила филологический факультет ЛГУ.

Прозаик, публицист. Автор более 15 книг,

в том числе «Критическая масса», «Освобождение Агаты»,

«Плюс-минус бесконечность», выпущенные издательством «Алетейя».

Шеф-редактор литературного журнала «Золотое слово».

Лауреат литературной премии «Гордость Державы Российской».

Член Российского Межрегионального союза писателей.

В журнале «Север» публикуется впервые.

